

18+

Аякко Стамм

Путешествие в Закудыкино



Аякко Стамм

Путешествие в Закудыкино

«Издательские решения»

Стамм А.

Путешествие в Закудыкино / А. Стамм — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-743020-7

Действие романа «Путешествие в Закудыкино» происходит одновременно в разных временных пластах: I век н. э. — Иудея, XVI век — эпоха Иоанна Грозного, Европа середины-конца XX-го века и современная Россия с заглядом в прогнозируемое будущее — Москва, некое село Закудыкино. В нём перемешаны разные века, персонажи разных времён, но настолько умелой рукой, что архитектурно сложная структура романа по мере продвижения по нему обнаруживает удивительную стройность, прозрачность, уместность всех деталей.

ISBN 978-5-44-743020-7

© Стамм А.

© Издательские решения

Содержание

Слово от редактора	6
Пролог	7
Часть первая	8
Книга первая. Испышение	8
I. Молодой специалист	8
II. Изобретатель	13
III. Испытание	16
IV. Золотой чемодан	22
V. Подмосковные вечера	29
VI. Сон в летнюю ночь	34
VII. Что есть Добро?	40
VIII. Лабиринт	44
Книга вторая. Исход	51
IX. Странная деревня	51
X. Сказка старого еврея	57
XI. Легка дорога попутчиками	63
XII. Гряди и виждь	68
XIII. Ловись, рыбка, большая и маленькая	75
XIV. Живая вода	78
Конец ознакомительного фрагмента.	83

Путешествие в Закудыкино

Аякко Стамм

Редактор Карина Аручан (Мусаэлян)

Иллюстратор Лана Андриевская

Дизайнер обложки Надежда Горовая

© Аякко Стамм, 2018

© Лана Андриевская, иллюстрации, 2018

© Надежда Горовая, дизайн обложки, 2018

ISBN 978-5-4474-3020-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Слово от редактора

«Аякко Стамм – писатель редкий в наши дни. Прекрасный русский язык. Завораживающая мелодика текстов. Фантазийность и реализм создают «многоэтажность» описываемого мира, увлекают читателя неожиданностью поворотов, рождая острое любопытство: а что там, «за углом»?! ... А главное: всегда – и в коротких рассказах, и в повестях, и в большом романе «Путешествие в Закудыкино» – есть ИДЕЯ... то, РАДИ ЧЕГО написано. При этом идея не умозрительная, а страстная, живая, порождённая болью автора за человека или – больше – за Россию, и вызывающая такой же страстный и живой читательский отклик, резонанс. С автором можно восторженно соглашаться, категорически не соглашаться, что-то принять частично, а с чем-то яростно спорить, но остаться равнодушным не получится. Читатель неизбежно вовлекается в диалог с автором. Не то ли это, ради чего пишутся книги?!

Роман «Путешествие в Закудыкино» – на сегодняшний день апофеоз творчества Аякко Стамма – можно назвать «романом патриотическим» в самом позитивном смысле этого слова, увы, затасканного и несправедливо обруганного. И «романом века», хотя в нём перемешаны разные века, персонажи разных времён, но перемешаны настолько умелой рукой, что архитектурно сложная структура романа по мере продвижения по нему обнаруживает удивительную стройность, прозрачность, уместность всех деталей. Автор пытается ответить на вечные вопросы: «кто я?», «откуда и куда иду?», «зачем иду и к чему хочу прийти?», но его ответы не завершены и предполагают читательское домысливание, личную работу ума и души читателя, побуждают к этому.

Именно этим интересен писатель Аякко Стамм.

Карина АРУЧЕАН (Мусаэлян)

Лауреат премий Российского и Московского Союза Журналистов

Член Союза Писателей России

Пролог

Эта психбольница была самым обычным лечебным учреждением, коих много, ой много и поныне существует по всей территории нашей душевно изболевшейся страны. Прекрасные, заповедные уголки природы, некогда облюбованные праздными эксплуататорами и паразитирующими церковниками для своих соответственно поместий и обитателей. Они заботливо передавались новой властью убогим согражданам вместе с как-то вдруг обветшавшими дворцами и храмами. Тихие, живописные, сказочные по своей красоте местечки Московии, пребывание в которых лечит и приводит в умиротворяющий восторг душу, стали не случайным пристанищем для убогих и страждущих. А последние в свою очередь нашли здесь среди каменных призраков былого величия и духовной твердыни покой и отдохновение. Многие насовсем.

Лечебница эта вполне себе спокойно существовала, функционировала, принимала в свои стены больных, иногда выпускала из них вроде бы здоровых, ... Короче говоря, ничем не отличалась от многих других заведений подобного профиля. Так и продолжалось бы, наверное, долго-долго, может быть даже бесконечно, если бы однажды в этом лечебном учреждении люди не начали бесследно исчезать.

И не то чтобы они пропадали как-то невзначай, ни с того ни с сего, каким-то фантастическим, или попросту мистическим образом – словно золотые с бриллиантовой проседью часики наивной блондинки из первого ряда партера в руках поиздержавшегося в дороге заезжего фокусника. Люди стали исчезать почти незаметно, как-то буднично-прозаично, без спецэффектов и ненужной шумихи. ... Но бесследно. Они просто были – спали, ели, пили, с кем-то ссорились, с кем-то дружили, кого-то даже любили, ... В общем-целом, попросту жили. А потом вдруг раз и пропали. Не все в одночасье конечно. Постепенно, по одному. И даже не сразу, а как-то потихоньку, по частям. Чего-то в них стало убывать, уменьшаться, улетучиваться и таять, как весенний снег. Незаметно за обыденными, ежедневными заботами, но неуклонно и упрямо. Так что в один прекрасный день глядь, и нет человека. Вчера ещё был – вот тут, рядышком, рукой достать и даже потрогать можно. И нельзя сказать, что в полноте и избытке своём был – немножко недо-, слегка неполно-, местами мало-, но ведь был же. А нынче нет его, как и не было вовсе.

Поначалу никто на это внимания особо не обращал. Списывали на усушку, утряску и на прочую естественную убыль. Но когда поползли слухи о возможном упразднении учреждения, о расчленении его на части, о перепрофилировании отдельных частей в угоду новым хозяевам под их возрастающие потребности и аппетиты – вот тогда контингент задумался. Задумавшись, заволновался, зашумел, а впоследствии и вовсе забузил. Не то чтобы весь, а так, некоторая весьма незначительная его часть, которая ещё не утратила способности думать, волноваться, шуметь и бузить. Инцидент сам по себе не особо опасный, но непривычный, выпадающий из утверждённого лечебного плана. А значит, требующий незамедлительных контрмер. Но меры мерами, а буза бузой. Явления эти, как известно, абсолютно параллельные, друг другу не мешающие, не взаимоисключающие, а как раз напротив, изрядно дополняющие и усиливающие одно другое. И всё бы то оно ничего – каждый занимается своим делом – но как только уровень критической массы приблизился вдруг к точке кипения...

Но не будем забегать вперёд, у каждого явления есть свой закономерный ход, своя последовательность, свой сюжет. Тем более что именно об этом сюжете, цепляющем, затягивающем стороннего наблюдателя в гушу событий, делающим его уже не посторонним, а непосредственным их участником, даже соучастником, и пойдёт речь ниже. Так что начнём, помолясь, всё по порядку.

Часть первая

*«Вот отдам Уфаеву полтинник,
заложив последние штаны,
докажу, что самый кроткий схимник
испокон выходит из штаны».*

Руслан Элинин. Русский поэт.

Книга первая. Искушение

I. Молодой специалист

Технический прогресс неумолим. Он идёт семимильными шагами по просторам нашей необъятной Родины. Надо сказать, что по этим самым просторам, по разухабистости отечественного бездорожья двигаться достаточно тяжело, и каждый шаг даётся ему с невероятным трудом. Так уж сложилось у нас исторически. Но он идёт себе, идёт настырно и упрямо, невзирая на преграды и трудности, огибая канавы и рытвины, преодолевая «нельзя» и просачиваясь сквозь «не положено». Устаёт правда очень.

Завидки берут, как это дело поставлено у них заграницей. Стоит только созреть какому-нибудь экзотическому яблоку, налиться до краёв чудотворным соком, отяжелеть от этого самого сока и сорваться с ветки под действием естественной силы, как откуда ни возьмись, появляется некий учёный муж и непременно подставляет умный лоб под свободно падающий фрукт. Просто и эффективно – и кушать подано, и закон открыт. Может потому так много научных разработок и технических изобретений носят заграничные имена. Нашим же Кулибиным да Поповым приходится преодолевать неимоверное количество бюрократических препон и барьеров. Так что пока они обивают пороги всевозможных комитетов да комиссий, их детища уже покрываются вековым слоем священной пыли. Уже рождённые, но никому пока не ведомые, никем не любимые они с надеждой ожидают себе новых, приёмных родителей. И непременно с импортными фамилиями. Справедливости ради надо сказать, что этот наш национальный обычай имеет и нечто положительное. К примеру, случись умнице Дарвину жить и, так сказать, творить не где-нибудь там, в Европах, а в нашем родном Урюпинске, то всё прогрессивное человечество ни за что не догадалось бы до сих пор, что является прямым потомком обезьяны. Так и жило бы оно, не освещённое прогрессивным сиянием научной мысли во тьме религиозного дурмана. Так и предпочитало бы простому и понятному обезьяньему родству непонятный, непредсказуемый, непостижимый промысел Божий. Но нет, не случилось, не срослось что-то.

Кстати сказать, обычное, нормальное, не передовое человечество этих родословных мук разума счастливо избежало. И пошло с тех пор разделение людского общества на продвинутых обезьяноподобных и тёмных богоподобных. А поскольку, как уже было сказано выше, прогресс неумолим, обезьянье племя наступает, теснит и давит с могучим нахрапом. Потому как делать-то ничего не надо. Родился и живи себе по инстинктам-понятиям – рано или поздно станешь-таки человеком подобно обезьяньему предку. Удобно и практично. Что поделаешь – наука, как бы. Урюпинск – не Европа, а Европа – не Россия.

К чести же наших изобретателей надо отнести тот факт, что их не особенно пугают столь великие трудности на тернистом пути познания. И по сей день, слава Богу, всё ещё способна, как сказал поэт, «... своих Платонов и быстрых разумом Ньютонів российская земля рождать».

И кто знает, может, недалёк тот день, когда наши доблестные Кулибины потянут тяжёлую лямку прогресса рука об руку с лучшими представителями многомиллионной армии чиновников от науки, призванных защищать последнюю от бесцеремонных проникновений ложных инсинуаций. Тогда глядишь, выиграют, наконец-то, не бесчисленные мин-прог-проф-промы, а сам вышеупомянутый прогресс. Жаль только жить в эту пору прекрасную, скорее всего, уж не придётся ни мне, ни тебе.

А покуда жизнь идёт своим, специально для неё установленным порядком, никуда не сворачивая, не уклоняясь в стороны. Потому как шаг вправо, шаг влево, согласно ещё одной новой традиции – расстрел на месте. Впрочем, и в наши нелёгкие дни находятся люди, радеющие за науку и плоды её, а не за возможность сытно кормиться этими самыми плодами. Не всё так уж плохо в доме нашем. Кое-где, нет-нет, да и пробьётся иной раз слабенький лучик света в тёмном царстве. Нет-нет, да и осветит неуверенным мерцающим сиянием молодой побег истины, проросший сквозь терние и несущий миру новые возможности прожить жизнь чуть-чуть легче, мал-мал интересней и хоть сколько-нибудь полезней.

В одном из многочисленных заведений под гордой и даже где-то монументальной вывеской «Бюро научно-технических разработок и изобретений «ЯЙЦА ФАБЕРЖЕ» царила, как всегда, деловая атмосфера и чисто научный порядок. Добросовестные сотрудники конторы дело своё знали туго, относились к нему со всей серьёзностью и ответственностью. Хотя и понятия не имели, в чём же так провинился старик Фаберже, кстати говоря, к науке и к технике имеющий весьма и весьма отдалённое отношение? За что он поплатился своими яйцами, украшающими ныне вывеску над парадным подъездом учреждения? Ответа нет. Да и не в старике дело. Главное, что народ подобрался серьёзный, образованный, грамотный, с разумной инициативой и свойственной всей околонуучной братии жёсткой деловой хваткой. Шутка ли, ко всем просителям подобрать индивидуальный подход, разобраться во всех труднопроизносимых словах и малоизученных буквах, отделить, наконец, полезные и нужные идеи от однозначно признанных чуждыми, не нашими. Надо сказать, персонал справлялся со своей задачей весьма успешно. Инструкций и директив не нарушал, отчитывался вовремя, без задержек и проволочек. Всегда был в первых рядах во всех общественно полезных массовых мероприятиях. Но и не высывался, когда на активную жизненную позицию указаний сверху не поступало. В общем, был на хорошем счету у вышестоящего руководства. Кто знает, может так продолжалось бы и дальше, если бы в одно прекрасное летнее утро не произошло некоторое, ничем не замечательное на первый взгляд событие, вылившееся в удивительную историю. Одну из множества удивительных историй, из которых, как старое бабушкино одеяло из лоскутков, соткана наша потрясающе интересная и богатая приключениями жизнь.

Это утро начинало собой первый рабочий день молодого инженера Жени Резова, только-только окончившего курс одного из престижных технических вузов столицы, с блеском защитившего дипломную работу и рвавшегося на изобретательское поприще, как молодая невеста на брачное ложе. Женю ещё с глубокого детства неодолимо тянуло к технике. Среди своих сверстников и их родителей он слыл натурой увлекающейся, и не без основания. Будучи ещё ребёнком, он с успехом сумел разобрать механический будильник популярной марки «Слава», от чего пришёл в неопишуемый восторг. Результат сборки, правда, оказался менее воодушевляющим и даже повлек за собой некоторые негативные последствия. Так как утром мама и папа проспали на работу, а будущий инженер получил первый горький опыт, который, как известно, сын ошибок трудных. Затем мальчика заинтересовало устройство электроутюга. Он некоторое время присматривался к загадочному агрегату, потом, уловив момент, когда родителей не было дома, приступил к изучению его содержимого. На сей раз всё обошлось как нельзя лучше – утюг был не только разобран, но и благополучно собран. При этом не осталось ни одной лишней детальки, так что никто ничего не заметил. Только через несколько дней весь дом на какое-то время остался без электричества, и беда эта как раз совпала с маминым намерением погла-

дить Женину рубашечку. Пришлось покупать новый утюг, а со временем также и кофемолку, миксер, фен и прочие мелкие бытовые приборы. Родители очень любили своего единственного сына, который был у них к тому же поздним ребенком – венцом всех чаяний и тайных надежд. Но, тем не менее, оставшуюся пока в доме технику попрятали.

Вообще, Женя рос послушным мальчиком и огорчал родителей не часто, больше радовал. Он отлично учился в школе, посещал несколько кружков детского творчества, играл в шахматы, участвовал в олимпиадах по математике, физике, химии, после школы легко поступил в институт, в котором также числился среди лучших. Было очевидно, что судьба уготовила ему научно-техническое поприще, на котором он чувствовал себя, как рыба в воде. Одно только обстоятельство немного огорчало родителей. Женя был несколько рассеян – часто терял ключи, приходил из школы с чужим портфелем и в чужом пальто, а то и вовсе без пальто и портфеля. Мальчик постоянно пребывал в состоянии какой-то недетской задумчивости, может, поэтому в трамвае он часто проезжал свою остановку, а на лифте свой этаж. Однажды ребёнок даже был замечен за сочинением стихов, что в дальнейшем повторилось неоднократно. В общем, вел себя как самый обыкновенный вундеркинд. Даже уже обучаясь в вузе, он так и не завёл друзей. И что особенно настораживало – у него всё ещё не было девушки, тогда как некоторые его сверстники-студенты уже скрывались от алиментов.

Однако в это замечательное летнее утро двадцатитрехлетний дипломированный молодой специалист Женя Резов не думал о грустном. Входя в контору со звучным названием «ЯЙЦА ФАБЕРЖЕ», он был преисполнен самых радужных надежд. Юноша находился в самом начале пути и верил, что этот путь приведёт его к великим свершениям и открытиям, к новым загадкам и оригинальным решениям. И что на этом поприще он достойно выдержит все испытания, преодолеет трудности и не посрамит родителей, к сожалению так и не доживших до настоящего дня.

Войдя в комнату с табличкой «ОТДЕЛ ИЗОБРЕТЕНИЙ» на двери, Женя оказался в просторном, светлом кабинете. В воздухе царила тишина и деловая, рабочая атмосфера. Два больших распахнутых настежь окна смотрели на милый зелёный дворик, утопающий в прохладной тени раскидистых лип. Это придавало обстановке покой, комфорт и умиротворение. Серьёзности же и бескомпромиссности ситуации добавляла широко натянутая во всю стену полоса красной, выцветшей от времени материи, на которой белой краской было написано:

«ДАДИМ БОЙ БЮРОКРАТАМ И ПОДХАЛИМАМ ВСЕХ МАСТЕЙ!»

Вероятно, этот лозунг, размещённый здесь несколько десятилетий назад, оставался актуальным и по сей день. По крайней мере, красную тряпку снимать всё ещё не собирались. Сразу под лозунгом, в самом центре стены красовался портрет известного официального лица в богатой, золочёной раме. Похоже, рама висела здесь всегда, менялось только содержимое, согласно текущему историко-политическому моменту, что происходило, в общем-то, не часто и всегда сопровождалось траурными мероприятиями. Чуть в стороне, в обрамлении попроще и посвежее, висело ещё одно официальное лицо, иногда как бы заменяющее первое на посту, но никогда в центре экспозиции. Сладкая парочка смотрелась весьма представительно, даже воинственно и не оставляла сомнений в том, что при необходимости может дать бой кому угодно, хоть подхалимам и бюрократам. Почему только это нужно было делать именно в учреждении науки, а не где-нибудь поближе, на расстоянии вытянутой руки, например? Это оставалось вопросом. Точного ответа на него Женя не знал. А спросить у своих новых коллег, занятых работой и не обращавших на вошедшего никакого внимания, постеснялся. Он тихо стоял возле двери, изучая обстановку, и соображая, как вести себя дальше.

– Вы по какому вопросу, товарищ? – отвлёк его от размышлений не то мужской, не то женский голос.

Резов вздрогнул от неожиданности и внимательно осмотрел всех присутствующих. Столь универсальный тембр голоса мог принадлежать любому из них, и в какую сторону следует

адресовать ответ, предстояло ещё разобраться. Наконец один из сотрудников оторвал взгляд от бумаг и взирал теперь на Женю сквозь большие, сильно увеличивающие очки.

– Какого вы тут, извиняюсь, вламываетесь?! И маячите туда-сюда посреди, как три тополя на Плющихе?! Или вас не колыхает, что люди тут, наверно, работают?!

Похоже, это была всё-таки женщина. По крайней мере, огромных размеров бюст и такой же пучок волос на затылке осторожно намекали на её принадлежность к прекрасному, слабому полу. Тогда как всё остальное, в особенности густые будёновские усы под внушительным носом категорически отрицали такое смелое предположение.

– У вас чё ли заявка? Так обожгите тама, за дверями. Капитетный товарищ по этим вопросам ещё не прибыли. Должен быть вскорости, обжидаем. А то вламываются тут со своими рукописками и стоят, как пыль столбом. Будто Герцен какой-нито прям! Ну, што вы на меня здесь рот разинули? Я вам, наверно, не цирк и не дифиля кака-нито, на мне карточек нет.

– Простите, я собственно... – от такого интеллектуального нахрапа Женя несколько растерялся, – ... я не то, что вы думаете, я работать...

– Не то, не это, блин горелый! Рабооотать он! А мы здесь, по-вашему, лаптями гороховый суп кушаем или буюм уши заколачиваем? Здесь вам не плебей ссыт, ... извиняюсь, ... здесь все работают, трудятся в поте подлеца своего. Тоже мне, Остап Бульба нашёлся.

– Одну минуточку, Хенкса Марковна, – вмешался в диалог седовласый шупленький старичок в старенькой заношенной троечке, в пенсне на носу и с ермолкой на голове. – Не надо брать штурмом крепость, тем более что она таки наша. Вы, молодой юноша, должно быть, новенький сотрудник? Евгений Резов, если я таки не ошибаюсь? Очень! Очень, смею вас заверить, имеем себе об вас радость! Нам таки уже докладывали о том, что скоренько... вот-вот вы должны появиться у нас! Давненько! Давненько себе поджидаем. И с нетерпением, знаете ли...

Старичок встал из-за своего стола, протянул Жене маленькую плюшевую ладошку и расплылся в сладчайшей, неподдельной искренности улыбке. У Жени заискрилось в глазах, а по кабинету, как напуганные тараканы, побежали во все стороны яркие солнечные зайчики. Столь невероятную ослепительность улыбке старичка придавал играющий на солнце гранями дорогуший бриллиантовый зуб.

– Разрешите поиметь себе честь представиться – заведующий Отделом Изобретений, заметьте-таки себе, профессор, Нычкин Израиль Иосифович. Рад! Необычайно рад знакомству! Имею себе из вас надежду, так сказать, на успешное, как бы, сотрудничество. Позвольте вам таки представить ваших новых коллег.

Старичок взял Женю под руку, развернул лицом к персоналу и начал представление.

– Мой зам, Хенкса Марковна Обрыдкина – добрейшей души человек и специалист, смею заметить, отменный.

Усатая женщина видимо не сообразила ещё, что происходит. Именно этим она сейчас и занималась, судя по бегающему от профессора к Жене и обратно растерянному взгляду и тяжёлому, прямо-таки богатырскому дыханию.

– Хенксочка Марковна, дорогушая вы моя, и не побоюсь этого слова, бриллиантовая. Перестаньте-таки нагнетать вашими могучими ноздриками из ваших же весьма обширных... хе-хе... лёгких такое количество воздуха в помещение. Нас всех сейчас-таки сдует. Хе-хе. И присядьте вы уже спокойненько, ваша чрезвычайная обороноспособность таки не понадобилась.

Профессор вновь вернул своё внимание к Жене.

– Вы, молодой человек, не поимейте на неё обиды. И расслабьте-таки эти ваши нервные клеточки, они уже в обратно не восстанавливаются. Наша многоуважаемая и всеми любимая Хенксочка Марковна поимела обыкновененце принять вас за просителя. Хи-хи... Она все-

гда так делает. Завалены работой, знаете ли, по самые наши ушки – не продохнуть, пардон, не пукнуть.... Хи-хи. А они всё несут и несут, прямо-таки бум изобретательства. Вообразите себе, осмелились-таки замахнуться на самого Альберта нашего с вами Эйнштейна! Да! Да! Ну, теперь с вашей, так сказать, помощью... хе-хе.... А Хенксочка Марковна – добрейшая, я бы сказал, где-то женщина. Ангелочек, знаете ли, во плоти. Мы все её прямо-таки любим и ценим за бескомпромиссность и, не побоюсь этого слова, богатый, как бы, внутренний мирочек. Да.

Израиль Иосифович снова ослепил Женю бриллиантовой улыбкой. Впрочем, лишь на мгновение, потому что послушная направлению взгляда профессора стая солнечных зайчиков как по команде метнулась в сторону усатой горы. Та приподнялась из-за стола, предъявив Жене другие, не менее грандиозные детали своей конструкции, рядом с которыми бюст просто потерялся.

– Так шожа вы не сориентировались нам на местности-то, – произнесла, как бы извиняясь, Хенкса Марковна, – мы ж тут не Акопянов, фокус-покусы из рукавов не вынаем и по глазам фотокарточки не сличаем, – и протянула Жене огромную лапишу. – Товарищ Обрыдкина, можно просто Хенкса Марковна.

– Ну, вот и чудненько, – продолжил Нычкин. – А это вот, позвольте поиметь себе удовольствие представить, наша экспертная группа – Венечка, Денечка и Санечка.

Перед Женей предстала троица без определённого пола и возраста. Вид её был странным и для данного места не вполне уместен, что ли. Уши, носы, губы и даже глаза представляемых сверкали металлическим блеском разнообразных висюлек: колечек, крестиков, цепочек и прочей позвякивающей мишуры. А раскрашенные во все цвета радуги, вздыбленные волосы скорее указывали на представителей некоего древнего африканского племени, нежели на вершителей какого-либо научного процесса. Впрочем, изорванные, протёртые в нескольких местах джинсы и черные очки как-то примиряли троицу с сегодняшним днём. А наука – барышня терпеливая, ей приходилось сталкиваться и не с такими чудачествами.

– В настоящее время, – продолжал профессор, – они так и занимаются вопросами, связанными с космосом. Конкретно с чёрненькими, уж поверьте мне, просто-таки весьма чёрненькими дырочками. Сейчас, буквально с минуты на минуту они улетают в Новосибирск, глядеть на небо в телескопчик. Венечка, подтяните-таки эти ваши... хе-хе... брюки, они же сползли по самые.... Да. Ой, только не надо мне опять лечить мои старые уши, что это такой у вас фасон. Это, милейший мой Венечка, не фасон, а полное так опущение ваших штанишек по самое так нельзя. А я вам говорю, подтяните и не спорьте со старшими. Санечка, застегните пуговку. И эти две тоже. Без пуговок кто-нибудь может-таки догадаться, что вы девочка. И перестаньте всё время иметь такую привычку со мной пререкаться! То, что вы называете «свободный прикид», порядочные девочки прячут. А ни то в глухой сибирской тайге с вами так может случиться казус, в результате которого вам будет чуть-чуть неприятно. Хотя... хе-хе... кто их теперь разберёт, где у них приятно, а где вовсе даже наоборот? Вы уже всё собрали, ничего не забыли? Смотрите, через полчаса машинка. Ждать не будут.

Профессор, довольно потирая руки, ещё раз оглядел всю команду и, оставшись видимо удовлетворённым, снова вернулся к Жене.

– Ну вот, со всеми вы познакомились. Коллективчик у нас не очень чтобы большой, но так дружный и сплочённый. Хочется надеяться, что и вы гармонично вольётесь в него и в кратчайшие сроки. Вот ваш столик, так сказать, рабочее место. Располагайтесь, осваивайтесь, если что обращайтесь. Я так и кончил. Хе-хе....

Завершив представление, профессор удалился к себе и снова погрузился в бумаги. Хенкса Марковна последовала его примеру, а Венечка, Денечка и Санечка, покрутившись ещё минут пять возле своего багажа, не говоря ни слова, исчезли за дверью кабинета.

Женя сел за рабочий стол, проверил содержимое его ящиков и, не найдя там ничего кроме воздуха и мятого конфетного фантика, погрузился в размышления о начале своей

карьеры. В особенности о том, что же интересного может ожидать его в будущем. А будущее стояло уже, что называется, у порога и собиралось обрушиться на Женю всей непредсказуемостью и оригинальностью своего чувства юмора.

В дверь кабинета тихонько постучали.

II. Изобретатель

Алексей Михайлович Пиндюрин был самоучкой. Никакого особенного образования он не имел, окончил когда-то давным-давно техникум, получив диплом, был призван в армию, а после службы не работал по специальности ни часа. Да и учился он так себе. Не то чтобы не был способен к наукам, а просто не увлекло как-то. Единственное что зафиксировалось у него в памяти о студенческом времени, было пиво в больших количествах, гитара, которая в сочетании с неплохим голосом делала Пиндюрина любимцем публики, и девочка Римма, в которую он тогда был, кажется, влюблён. С гитарой и пивом Алексей Михайлович дружил ещё долгие годы, чего никак нельзя сказать о том далёком сердечном увлечении. Не то чтобы юной пиндюринской зазнобе не нравился весёлый и бесшабашный парень Лёха. Напротив, их симпатии друг к другу были взаимны. Но замуж она вышла за другого, потому как этот самый Лёха женился двумя месяцами прежде неё, и не на ней. Зачем он это сделал? Вероятно из природной тяги к эксперименту, ко всему новому, не опробованному на собственной шкуре, а стало быть, привлекательному.

Пиндюрин всегда был немного романтиком и авантюристом. Он без особого труда и излишних опасений ввязывался во всё, что было ему интересно. Будучи легко обучаемым человеком, быстро осваивал новое поприще и даже добивался определенных успехов. Но обнаружив где-то на горизонте неизвестную, ещё более манящую звезду, также легко менял ориентацию (не подумайте ничего плохого) и во весь опор мчался к новой, непознанной ещё мечте. Судьба, видя такое рвение, не обижала Пиндюрина и часто подбрасывала ему то одну, то другую отрасль из обширной сферы деятельности, освоенной человеком за многое множество веков его (человека) существования. Алексей Михайлович даже собрался было устроиться прапорщиком в Красную Армию. Но, оценив по достоинству все прелести военного образа жизни, он вскоре поменял романтику цвета хаки на черно-белые, а чаще цветные будни отечественного кинематографа. Здесь дело пошло не в пример лучше. Кино настолько увлекло Пиндюрина всей своей многогранностью и разноплановостью, что у него наметился некий даже карьерный рост. Так что он, недолго думая, поступил в институт кинематографии и проучился там аж целых два года. Но тут на пути нового Феллини опять неожиданно появилась коротенькая юбчонка, в которую он тут же влюбился. Девочка была совсем юная, необычайно красивая, девственно наивная и непроходимо глупенькая. Всех этих, безусловно, ценных качеств с лихвой хватило, чтобы покорить пылкое сердце Пиндюрина. Так что Алексей Михайлович с головой кинулся в омут страсти со всей свойственной ему серьезностью. Будучи человеком глубоко порядочным, он не мог допустить преступной внебрачной связи. Поэтому с первой женой надлежало расстаться, оформив законным порядком развод. Институт так же пришлось оставить, так как на него катастрофически не хватало времени. Руководству же киностудии, долго и бесполезно боровшемуся за целостность ячейки общества, оказалось совершенно необходимым в срочном порядке избавиться от пятна на авторитете заслуженного коллектива. В результате развитие отечественного кинематографа продолжило свой восходящий путь без Алексея Михайловича. Девочка тоже задержалась ненадолго. Вскоре она, пресытившись Лёхиной романтикой, увлеклась более молодым, более серьёзным, более перспективным человеком, выскочила за него замуж и исчезла с пиндюринского горизонта навсегда. Погоревав немного, Алексей Михайлович отправился дальше на поиски своего места в жизни.

Судьба изрядно побросала его. Он объездил всю страну в качестве заместителя начальника почтового вагона, писал стихи, песни и выступал с ними на Арбате, перелопатил не одну тонну песка в поисках исчезнувших цивилизаций в Средней Азии, работал в солидной компьютерной фирме, занимался бизнесом, скрывался от кредиторов и бандитов, продавал Гербалайф, бомжевал, работал таксистом, охранником, неоднократно был женат, разведен, снова женат, ... Как вдруг однажды...

В один прекрасный летний день утомлённый солнцем Пиндюрин отдыхал от зноя и забот праведных на скамейке в тени городского парка. Он был свободен и чист перед обществом, поэтому время от времени отхлёбывал прямо из бутылки милый его сердцу напиток – пиво популярной петербургской марки. Это был уже не очень молодой, сорокатрёхлетний мужчина, здорово полысевший и с заметным брюшком – результатом преданности любимому напитку. Весь его внешний вид – легкая трёхдневная небритость, несвежая, давно умолявшая о стирке футболка, старые протёртые джинсы, слегка пахучие сквозь растоптанные сандалии носки в красную и светло-зеленую полоску – всё в нём говорило о том, что поиски своего «я» пока не увенчались успехом. А Алексей Михайлович, несмотря на возраст, находится всё ещё в самом начале этого поиска. В голове, всегда переполненной идеями и проектами, на сей раз было пусто, как в холодильнике. А в его холодильнике было пусто всегда. Хотелось есть, к тому же нестерпимо чесалось между лопатками, и не было никаких способов победить ни первое, ни второе.

Вдруг откуда ни возьмись, перед Пиндюриным нарисовался странно одетый гражданин с саквояжем. Костюм его был великолепно пошит, из дорогой шерстяной, явно не отечественного производства ткани. Но как-то не по сезону, и к тому же, по моде конца девятнадцатого, начала двадцатого веков. Этот гражданин удивительно напоминал доктора Ватсона из нашумевшего отечественного сериала. Он тактично, по-джентльменски поклонился и на правильном английском языке произнес фразу, которая заставила Алексея Михайловича задуматься.

– Чё? – ответил Пиндюрин, сообразив после непродолжительной паузы, что он совершенно не владеет языками.

Незнакомец повторил фразу, добавив к ней еще несколько слов, не внёсших, впрочем, никакой ясности в создавшуюся ситуацию.

– Тебе чего надо-то? Бутылку, что ли? – и добродушный, в общем-то, Алексей Михайлович, залпом допив пиво, протянул опорожненный сосуд англичанину.

– No! No! – яростно замахал руками «Ватсон», видимо несколько оскорблённый тем, что его неправильно поняли, и обрушил на ничего не понимающего Пиндюрина новый поток чисто английской тарбарщины.

Он долго ещё что-то пытался объяснить, отчаянно жестикулируя и рисуя на песке какие-то фигуры. А вконец очумевший Пиндюрин тем временем морщил лоб, пытаясь разобрать хоть что-то, вспомнить хотя бы слово из когда-то изучаемого им языка. Впрочем, несколько слов он всё-таки вспомнил, но они не внесли никакой ясности.

– Слышь ты, чего пристал? Я не понимаю ни бельмес. Я те говорю, не шпрехаю я, понял? Но англичанин не унимался.

– Ты, бляха муха, охренел что ли, мать твою... Я те по-русски говорю, не андестенд я. «Ватсон» вдруг замолчал и уставился на Пиндюрина круглыми глазами.

– А, понял, наконец? То-то же! Я только по-русски шпрехаю, ферштейн? Ты по-русски можешь?

Англичанин молчал.

– Я те говорю, ты по-русски можешь? – закричал Пиндюрин, втайне, видимо, надеясь, что усиление громкости произносимых им фраз способно таки разрушить языковой барьер.

– ...!

– Ну, рашн, рашн!

– ...!

– Послушай сюда. Ты это, как его, дююспикинглиш? – продемонстрировал Алексей Михайлович свои познания в английском.

– Yes! Yes! – оживился англичанин.

– Ну вот, видишь! – обрадовался было Пиндюрин, но тут же понял, что зашёл в тупик. Потому что кроме «рашн» и «дююспикинглиш» в его утомлённом мозгу крутилась только одна единственная и, по всей видимости, совершенно бесполезная в данной ситуации фраза про то, что «Москоу из кэпитэл оф Раша». И больше ничегошеньки. – Ес, ес,... а я вот не ес ни бельмес. Я рашн ес, понял?

– ...

– Какой же ты бестолковый, мать твою... Я рашн спикинглиш... дюю.... Понял?

Оба собеседника, отчаявшись найти взаимопонимание, пробурчали что-то каждый на своём языке, отвернулись друг от друга и уткнулись взглядами в начерченные на песке фигуры.

Пауза затянулась.

– Пиво будешь? – пошел на сглаживание международного конфликта Алексей Михайлович. Он достал из стоящей тут же сумки бутылку и протянул её неожиданному знакомому.

– No.

– Да не, полная. Угощаю.

Англичанин смотрел то на Пиндюрина, то на протянутый ему сосуд, видимо, пытаясь сообразить, что от него хотят.

– Опять не понимаешь? Сейчас... как это... – Пиндюрин никак не мог подобрать из своего запаса английских слов подходящее. Но вдруг его осенило. – Халява, сэр!

Изумлённый англичанин молча принял дар загадочной русской души и, не найдя чем открыть пробку, снова уставился на собеседника.

– Дай сюда! Вот лох американский, бутылку открыть не может, – Алексей Михайлович взял назад сосуд и, открыв его зубами, снова протянул иностранцу.

Несколько минут они, молча, пили пиво, а когда допили, снова повернулись друг к другу. Международный конфликт был улажен.

Не зная, как донести до не владеющего языками русского столь важную информацию, «Ватсон» достал из саквояжа толстую картонную папку и протянул её незадачливому полиглоту.

– Что это? – спросил Пиндюрин, озадаченно принимая ответный дар из рук иностранца. – Зачем это? – но англичанина рядом уже не было.

Не было его и в ближайших окрестностях, он исчез, растворился в пространстве так же неожиданно, как и появился.

Некоторое время Пиндюрин так и сидел, то озираясь по сторонам, то разглядывая папку, потом решил и раскрыл её. Ничего, на первый взгляд, ценного в ней не оказалось – какие-то исписанные ровным каллиграфическим почерком листы бумаги, эскизы, схемы и чертежи неведомого устройства, напоминающего швейную машинку «Зингер», скрещенную с этажеркой. Только более крупных размеров. Всё было изложено аккуратно, по-английски, и совершенно непонятно. Любой другой, нормальный человек выбросил бы всю эту макулатуру. Но природное чутье на интригу заставило Алексея Михайловича заботливо сложить всё обратно, завязать тесёмки и спешно отправиться домой, предвкушая новое загадочное приключение.

Дома, удобно устроившись за столом и вооружившись англо-русским словарём, тетрадкой и ручкой, Пиндюрин принялся за перевод текста на нормальный, доступный ему язык. Провозившись несколько часов и изрядно попотев, Алексей Михайлович осилил-таки титульный лист сочинения, вызвавший у него самые противоречивые чувства. Трудно было принять

это всерьёз и допустить, что изложенное на титуле не есть бред сумасшедшего. Или, что еще хуже, попытка разыграть доверчивого Пиндюрина и, втюхав ему явную туфту, затем от души посмеяться над ним. Любопытство взяло верх, и, поразмыслив немного, Алексей Михайлович решил разобраться хорошенько с сочинением, а затем уж решить, что делать с этим дальше.

А на титульном листе было написано следующее: *«Полное и подробное описание устройства, принципа действия и порядка сборки машины времени с перечнем всех деталей и запасных частей, а так же с приложением чертежей, эскизов и схем. Сочинение Герберта Уэллса¹, которое он, будучи в здравом рассудке и твёрдой памяти, сам лично передаёт потомкам, что само по себе, является неоспоримым доказательством реальности путешествий по времени и существования вышеназванной машины. Лондон. Год 1899-й».*

III. Испытание

Ни профессор Нычкин, ни Хенкса Марковна никак не отреагировали на стук в дверь. Они продолжали работать с видом людей, занимающихся архиважным для человечества делом. Женя уж было подумал, что ему послышалось, как стук повторился снова. Дверь приоткрылась – в комнату просунулась круглая, как бильярдный шар, с обширной лоснящейся лысиной в обрамлении жиденьких всклокоченных волос, сладко улыбающаяся во все зубы голова.

– Здравсьте, – произнесла голова, всплывая во внутреннее пространство кабинета и втаскивая за собой такое же круглое тело. Мягко ступая по выдавшему виды паркету и беспрерывно одёргивая нижний край выпцветшей от возраста футболки, тело неуверенно, то делая два больших шага вперёд, будто переступая невидимые лужи, то останавливаясь и переминаясь с ноги на ногу, то отступая назад... и неожиданно снова два больших шага вперёд, проследовало на середину комнаты, кланяясь во все стороны. Потоптавшись какое-то время в центре и одними глазами, не поворачивая головы, оглядев всех присутствующих, тело влажными от волнения ладонями пригладило остатки растительности на голове и, резко повернувшись, направилось к Жене. Почему оно выбрало именно его? Может потому, что Резов был единственным из присутствующих, кто наблюдал за всеми его действиями с нескрываемым любопытством. Подойдя к столу, и завалившись на него всей своей массой, посетитель нагнулся к самому Жениному уху и произнес заговорщицким шепотом.

– Вам чрезвычайно повезло!

Затем он выпрямился, отошёл на два шага назад и встал, скрестив руки на груди, в предвкушении фурора, произведённого столь ошеломляющим сообщением. Видимо реакция Жени, недоуменно взирающего на экстравагантного посетителя, оказалась не слишком бурной. Поэтому тело, снова подойдя к столу, неуверенно пролепетало.

– Вы это... как его... ну, в общем... – промямлило оно, мучительно подбирая нужные слова для второго захода на контакт. – ... Рубашка у вас хорошая. Почём брали?

Человек, наконец, нашёл неординарное решение и, подтверждая слова действием, оценивающе пощупал уголок ворота Жениной сорочки.

– Да, отличная рубашка. Дорогая, небось?

– Это мама покупала... давно ещё, – зачем-то пояснил Женя.

¹ Герберт Джордж Уэллс (англ. *Herbert George Wells*; 21 сентября 1866 – 13 августа 1946) – британский писатель и публицист. Автор известных научно-фантастических романов «Машина времени», «Человек-невидимка», «Война миров» и др. Крупнейший мастер критического реализма. Сторонник фабианства. Трижды посещал Россию, где встречался с Лениным и Сталиным. В 1895 году Уэллс написал своё первое художественное произведение – роман «Машина времени» о путешествии изобретателя в отдалённое будущее. Существует легенда о том, что Герберту Уэллсу реально удалось сконструировать машину времени, и в своём романе он описал то, чему сам был свидетелем.

– Да-а! Это сразу видно, – тоном знатока заявил посетитель и, несколько осмелев от внезапно возникшего взаимопонимания, снова нагнулся через стол к уху собеседника. – Вы первый!

Слегка оторопевший от столь неожиданного заявления Резов оказался в некотором замешательстве. Он никак не мог сопоставить воедино, что же всё-таки очевидно опытному глазу специалиста? То ли ценность рубашки, то ли мамино участие в приобретении оной, то ли приоритетное его, Жени Резова право на её использование по назначению.

– Как это? Почему первый? Это моя рубашка... Её больше никто...

– Товарищ, здесь вам не гастрономия! И не эта... как его... не Бродвей какой-нито! Здесь про между прочими люди трудятся! Здесь процесс, а не бардак!

Услышав новый, незнакомый ещё голос, посетитель, как ошпаренный, отскочил от стола на середину комнаты. И будучи в затруднении определить автора столь глубокомысленного замечания, он заговорил, обращаясь к портрету в золочёной раме.

– Да, я знаю. Гастроном там, направо. Я там пиво брал. Хотя, какое теперь пиво? Какие гастрономы, такое и пиво. Раньше-то помню... – и он, видимо, увлечшись новой темой, тут же принялся развивать её до уровня высочайшего взаимопонимания с аудиторией. Но его грубо и цинично прервали.

– Вы што тута из себя позволяетесь? – Хенкса Марковна подняла суровый взгляд на вдребезги испуганного любителя пива. – Тута вам што, содома, или геморрой? Гляньте-ка, пива ему захотелось! От пива... это... как его... – Обрыдкина запнулась на полуслове, сообразив видимо, что данное выражение не для культурного общества, к которому она себя, несомненно, причисляла, – от пива... это... растёт криво, вот, – наконец-то нашла она выход из щекотливого положения и добавила, уточняя, – ... у мужчин. И вообще, чего это тут? Я вас спрашиваю или где? Чего это тут? Шас вот вызову вам сержанта, тогда узнаете, почём раки зимой!

– Вы, уважаемый, по какому имеете быть вопросику? – вмешался профессор Нычкин. Но, заметив движение посетителя в свою сторону, поспешил переадресовать его обратно Жене. – Если имеете о себе дельце, тогда изложите-таки всё по порядку инспектору нашему с вами Резову. Вон, извольте-таки взять стульчик, присядьте к тому столику и изложите весь этот ваш вопросик. И не делайте-таки больше эти ваши шаги, как землемер на целине. У нас и без вашего имеются свои нервы и убеждения.

– Здрасьте... – заискивающе заулыбался посетитель.

– День добрый. Вы уже таки здоровались, – ответил профессор и снова погрузился в пучину важных дел, ясно давая понять, что диалог не состоится.

Тело потопталось некоторое время в нерешительности, затем резко развернулось на сто восемьдесят градусов, аршинными шагами переступая невидимые лужи, проследовало через всю комнату к самому дальнему свободному стулу и, схватив его обеими руками, так же стремительно вернулось к жениному столу.

– Вот так! – заявило оно, усевшись на стул, и закинув ногу на ногу. – Мне нет никакого дела до вашей рубашки. Вещь конечно фирменная, но... – посетитель осёкся на полужеле, оглянулся на Хенксу Марковну, опасаясь видимо обещанного сержанта, и снова одернул края футболки. – Вы не думайте, мы знавали времена и получше. Я по делу!

– По какому делу? – всё ещё чувствуя себя не в своей тарелке, спросил Женья.

– По важному! По очень важному! – проситель развел руки, будто обнимая ствол баобаба, надул щеки и широко раскрытыми глазами обшарил всю комнату, пытаясь найти какой-нибудь наглядный пример значительности своего вопроса. – ... Просто, ну... я бы сказал... э-э-э... вот какое дело!!!

Как назло ничего подходящего на глаза не попадалось, а выразить словами всю грандиозность идеи он не мог. Тут взор его неожиданно уткнулся в портрет официального лица в золочёной раме. Посетитель вскочил и указующим перстом продублировал направление взгляда.

– Вот! Смотрите, вот! – заорал он, как на пожаре.

Все глаза, даже глаза всегда чрезмерно занятой Хенксы Марковны, как по команде оторвались от важных дел и уставились на портрет. В воздухе повисла тяжёлая, напряжённая, мучительная в своей значительности пауза. Казалось, что вот сейчас, то есть в самую эту минуту произойдёт что-то архиважное, уникальное, что бывает только раз в жизни, ради чего, собственно, и стоило родиться, очевидцем и даже участником чего удостаиваются чести быть считанные единицы... и то не все. Профессор Нычкин от напряжения даже привстал и, инстинктивно достав из внутреннего кармана пиджака валидол, отправил в широко раскрытый рот сразу несколько таблеток. Рот же закрыть позабыл, отчего зайчики тревожно забегали-запрыгали по стенам и потолку, навевая тем самым ещё больше тяжести, напряжённости, мучительности и загадочности моменту. Наверное, ему почудилось (чего не пригрезится, когда тебе далеко за шестьдесят, глаза уж не те, а сердце выпрыгивает наружу от волнения), но он готов был поклясться в том, что личность на портрете пошевелилась, подмигнула лукаво, и не кому-нибудь, а именно ему, Изе Нычкину. Через мгновение она, должно быть, встанет, сойдет с портрета и, хладнокровно достав из-за пояса маузер с наградной гравировкой от самого Дзержинского, приведёт в исполнение обещанный когда-то приговор мочить, ни мало не смущаясь, что не в сортире. Причём начнет именно с него, с Изи. А с кого же ещё? С некоторых пор, за неимением лучших кандидатур, мочить изволили представителей самой древней национальности. Израиль Иосифович это так хорошо знал и, хотя до сих пор не подвергался (Бог миловал), но готов был всегда.

– Что там? – полушёпотом нарушил затянувшуюся паузу Женья.

– Го-су-дар-ствен-ной!!! – высоко подняв указательный палец, провозгласил посетитель.

– Что «государственной»? – не понял Женья.

Посетитель, довольный успехом своего выступления, снова плюхнулся на стул, закинул ногу на ногу и с высокомерным равнодушием, как бы делая одолжение всем присутствующим, сообщил.

– Да дело моё государственной важности.

Обессиленный профессор рухнул в кресло. А из-за рядом стоящего стола, как неизбежный рок, медленно, но неумолимо поднималась глыба Хенксы Марковны Обрыдкиной, что уже само по себе не предвещало радужных перспектив. Она открыла рот, но замешкалась, не решив ещё, видимо, с какого пируэта лучше начать словесную эквилибристику. Этого мгновения оказалось достаточно, чтобы посетитель вновь взял инициативу в свои руки.

– Ахтунг! – закричал он, вскакивая со стула и поднимая правую руку вверх, ладонью к Хенксе Марковне. – Ахтунг! Нихт шизн! Аусвайс, едрёнить!

Товарищ Обрыдкина закрыла рот, ошеломлённая не то неожиданным отпором, не то потоком новых слов, не входивших в её словарный запас, но, несомненно, способных украсить её лексикон.

– Цигель Айлюлю Моторс! – продолжал посетитель, эффектным движением превратив ладонь в многозначительно поднятый указательный палец.

– Как вы сказали? – Обрыдкина уже сидела на своем стуле, вся обратившись в слух и заострив внимание до предела. – Повторите, пожалуйста, если можно. Я запишу.

– Пишите, – благословил посетитель. – Пиндюрин!

– Куда, простите? Я не пОнял.

– В будущее! В прошлое! В вечность! К едрене матери! Короче, куда хотите. Пиндюрин – моя фамилия. Алексей Михайлович, можно Лёха, но без фамильярностей – не люблю. Для вас просто Пиндюрин, – он вошёл в азарт, аршинными шагами измерял пространство кабинета, то заламывая руки, то разводя их в стороны, то сжимая в замок за спиной, периодически потрясал указательным пальцем в воздухе и возглашал: «Эврика!». – Уникальное изобретение! Перево-

рот в науке! Японцы отдыхают! Испытание проведем сейчас же, немедленно, прямо здесь. Вы будете моим ассистентом, – указал он на Женю. – Вы...

Хенксе Марковне показалось, что перед ней живое воплощение известного плаката с изображением красного мужика в будёновке и вопросом: «Ты записался добровольцем?». Она готова была вскочить, вытянуться во фрунт и молодецкато заорать: «Яволь!». Но слов таких она, к сожалению, ещё не знала, и поэтому промолчала.

– ... вы будете вести протокол, – сформулировал Пиндюрин задачу Обрыдкиной. – А вы...

Профессор уже пришёл в себя и, подозрительно прищурившись, наблюдал за происходящим. Природная интуиция и богатый опыт подсказывали, что перед ним таки авантюрист и проходимец. Но в то же время присущая ему осторожность как-то сдерживала и советовала подождать.

Алексей Михайлович решил помочь Нычкину разрешить дилемму, как отнестись ко всему происходящему и что предпринять дальше.

– ... вы, уважаемый, будете генеральным руководителем проекта и главным научным экспертом в одном, так сказать, флаконе.

Слепая Фемида как всегда не заметила искусно брошенного камня на одну из чаш её весов, которая незамедлительно перевесила другую. Естественно в пользу Пиндюрина.

– Так-с! – произнес профессор, выходя из-за стола и довольно потирая руки. – Что, собственно, будем испытывать?

– Как, я разве не сказал? – почти искренне удивился изобретатель и поднял над головой миниатюрный приборчик, напоминающий сотовый телефон. – Вот! Цигель Айлюлю Моторс! Программируемый аппарат независимого четырехмерного дрейфа по пространственно-временному континууму!

– Что? – прозвучали хором все три голоса. Нычкин перестал потирать руки, Обрыдкина приготовилась записать новые слова, а Женя достал из кармана точь-в-точь такой же приборчик, который до последнего времени искренне считал, и не без основания, мобильником фирмы Nokia.

– Что-что, Машина Времени, вот что, – обиделся Пиндюрин.

– Ой! Ой! Ой! Только не пытайтесь поиметь нас за идиотов. Вы, батенька, таки серьёз рассчитываете, что мы будем совсем уже дети и поймеем столько наивности, что поверим во всю эту галиматью? Это же антинаучно.

Нычкину, по роду его деятельности, не раз приходилось сталкиваться с изобретателями всякого рода вечных двигателей. И хотя машина времени попала ему впервые, доверия к подобным проектам он не испытывал и возглавлять их явно не горел желанием.

– И не становите, пожалуйста, это ваше тело посередине в позе Ришелье! Тут вам не площадь, это таки учреждение по поводу науки! Идите, батенька мой, домой, отдохните, подумайте ещё, поработайте, поизобретайте. И если таки придумаете что-нибудь, так сказать, более реально правдоподобное, приходите. Обязательно рассмотрим. А пока, увы...

Израиль Иосифович сел на своего любимого конька. Он собрался уже прочитать не очень молодому изобретателю ряд дежурных наставлений и даже открыл, было, рот, но явно ошибся в выборе слушателя. Он совершенно не предполагал, с кем пришлось ему столкнуться на этот раз.

Пиндюрин почувствовал, что инициатива уходит из рук. Это не входило в его планы на сегодняшний день. И он снова ринулся в атаку.

– Да что вы, уважаемый, это же действующая модель. Не раз опробованная. Я вам сейчас покажу, – и он стал набирать что-то на клавиатуре. – Мне удалось минимизировать... – Хенкса Марковна записала, – ... размеры аппарата до габаритов обычного мобильного, такого, как у гражданина Резинкина...

– Резова, – поправил Женя.

– Ну да, я так и сказал, – как бы извинился Пиндюрин и продолжил. – ...А эффективность его от этого только выросла. Теперь достаточно набрать дату, год и координаты места, куда вы хотите перенестись... – на этот раз он обращался непосредственно к Нычкину, медленно, но неуклонно приближаясь к нему вплотную, – ... нажать вот эту пимпочку... – Пиндюрин уже дышал пивным перегаром в лицо профессора, всовывая в его руку аппарат, – ... и поехали.

– Нет! Я таки не хочу никуда ехать! – завизжал прижатый к стене Нычкин. – Я не могу, я очень занят! У меня семья! Стенокардия! Остеохондроз! – он почти плакал, держа дрожащими руками аппарат. – Я старенький, мне таки пора уже на заслуженный, весьма, между прочим, заслуженный мною отдых! Я уже написал-таки заявление! Не верите?! Оно в столе, тут..., вон там...

И жалостливый в глубине души Пиндюрин принял из дрожащих рук профессора Nokio. Напряжённость ситуации несколько спала.

– Я сейчас уже напишу, честное слово... прямо сей же час, если позволите... сегодня же. ... Ну, вы же интеллигентный молодой человек, вы не можете так со мной, не можете! Поехали. ... И что такое, в самом деле, поехали? У меня таки сердце... – лепетал Изя, но, избавившись от аппарата, постепенно обретая соответствующее занимаемой должности присутствие духа. – ... И потом, как вы себе это видите? Нельзя ж таки оставлять проект без руководителя. Нет, я таки должен обеспечить вам своё присутствие здесь, объективно, так сказать, со стороны, беспристрастно. Вот! – заключил он, несколько успокоившись.

Затем, всё ещё вздрагивая и всхлипывая, подошел к огромному сейфу, дрожащими руками открыл его, с седьмой попытки миниатюрным ключиком отпер в нём ещё какой-то ящичек, озираясь на присутствующих, достал из него шкатулочку, а из шкатулочки флажечку дорогого армянского коньяка и наполнил, проливая мимо, маленькую рюмочку.

– Да, без руководства нельзя, – согласился Пиндюрин, забирая из рук профессора ароматный алкоголь и выпивая его одним глотком. – Хороший коньяк, – он посмотрел в пустую рюмку, отобрал у Нычкина флажечку, наполнил её вновь и выпил залпом. Затем отправил всё в сейф и, захлопнув дверцу, ... – Лимончика к нему не хватает. Ладно. Остаётесь! – ...подвел черту под прениями.

Хенкса Марковна в это время напряженно размышляла над тем, как правильно пишется слово «просрацтвенноплеменнойкаптиниум», и в каких ситуациях им лучше всего пользоваться. Из состояния задумчивости её вывели медленно приближающиеся, тяжелые шаги изобретателя.

– Это не больно, и вовсе не страшно. Я отправлю вас в прошлое ненадолго, вы очень скоро нас догоните и подробно опишите в протоколе все свои ощущения, – тихо, но вместе с тем твердо, как доктор Кашпировский, говорил Пиндюрин. – Держите аппарат, нажмёте вот эту клавишу и... вперед.

Хенкса Марковна, несмотря на свой выдающийся авторитет и вес в обществе, не могла противиться этому завораживающему, не предполагающему никаких возражений голосу. Она смотрела в серые глаза Алексея Михайловича, как кролик на удава, готовая исполнить всё, что бы он (голос) не повелел, несмотря на бурное сопротивление всей её трепещущей от страха души. Обрыдкина послушно взяла аппарат в правую руку. Указательный палец левой медленно потянулся к обозначенной клавише... Вот он уже коснулся её тёплой глянцевой поверхности... Еще чуть-чуть, одно крохотное, совсем микроскопическое движение, не требующее никаких усилий, ну совершенно никаких, и время – потечёт для неё вспять. Она отправится в неизведанное, не поддающееся никакому пониманию нечто. Шутка ли – первая в истории человечества женщина-хрононавт! Всё уже готово, час икс наступает, прижимая к стене, отрезая пути к отступлению. Сейчас она нажмёт заветную клавишу и...

– Не-е-ет! – пронёсся по всему зданию душераздирающий крик. И если бы другие сотрудники заведения, из других кабинетов, не были бы лично знакомы с представителями отдела изобретений, то они наверняка бы подумали чёрти что. Например, что профессор Нычкин, несмотря на почтенный возраст и авторитет, задумал учинить над бедной Хенксой Марковной акт физического насилия сексуального свойства в особо извращённой форме. Они неминуемо прибежали бы на помощь бедной женщине и, конечно же, спасли бы от поругания её, пусть давно уже не девичью, но всё же честь. Однако никто не смог допустить со стороны Изра-иля Иосифовича даже самого невинного флирта, даже в обычной, общественно приемлемой форме. Не говоря уже об особо извращённой. К тому же сама Обрыдкина давно не вызывала у сильного пола страсти, способной подвигнуть на подобные безумства характерного свойства в какой-либо форме вообще. Да и вызывала ли когда-нибудь? Ведь что-что, а её пол трудно было заподозрить в слабости? Поэтому никто не прибежал, не помог, не оградил. Все решили, будто Хенкса Марковна просто увидела мышь, которых она боялась до смерти. Справедливо-сти ради надобно отметить: мыши – единственное, чего боялась Обрыдкина. Слоны всегда боятся мышей.

Но всё-таки пронзительный крик не остался без внимания. Нашлась одна душа, которая не то что бы радела за морально-нравственный облик сослуживцев, а в принципе не могла пройти мимо беспорядков. Никаких. В какой бы форме они не совершались. Пусть даже в самой невинной.

Дверь кабинета с шумом раскрылась настежь – в комнату буквально вломилась вооруженная практически до зубов шваброй наголо, с тряпкой наперевес и большим скрипучим ведром здешняя хранительница чистоты, тишины и порядка, а попросту уборщица тётя Клава. Так её все тут называли, несмотря на то, что по паспорту она значилась Офелия Петропавловна Кузюкина. Но этого никто не знал, так как тётя Клава работала в заведении с незапамятных времен.

Когда-то давным-давно, будучи ещё совсем молоденькой девушкой, отвечая на вопрос кадровика о происхождении её откровенно буржуазного имени, и более чем странного отчества, она сбивчиво и постоянно краснея, рассказала свою грустную историю. Оказалось, что у неё имеются два папы. Один – Петя, с которым мама, как положено, ходила в церковь венчаться. А другой – Паша, с которым мама никуда не ходила, даже в ЗАГС. Который так, дома. Оба папы на редкость мирно уживались в маминой комнатухе, дружно пили горькую, так же дружно пользовали маму и оставались весьма довольными таким положением. Идиллия продолжалась довольно долго, лет около десяти, отчего, в конце концов, и появилась на свет чудная девчушка, которую мама назвала Офелией, в честь невесты товарища Гамлета – датского революционера, хотя и принца, но нашедшего в себе мужество наотрез порвать со своим контр-революционным прошлым и учинить революцию против дяди-тирана. Об этом мама Офелии узнала из театральной постановки, на которую в народный театр-студию имени древнеримского революционера товарища Спартакса её водили когда-то оба папы.

Эта трогательная история настолько впечатлила тогдашнего начальника отдела кадров, что Офелию приняли в штат, но рекомендовали подобрать себе другое, более пролетарское имя. Сошлись на Клавдии, в честь ещё какого-то римлянина, должно быть, тоже революционера. Так и стала Офелия Петропавловна Кузюкина просто Клавой, а со временем, тётей Клавой. С тех самых пор она терпеть не могла беспорядков, особенно в личной, сугубо интимной, так сказать, сфере. Вот и сейчас, чуть только заслышав крик, она, вооружившись всеми доступными ей средствами, помчалась искоренять всё ещё встречающиеся в нашей счастливой, в общем-то, жизни отдельные недостатки.

– Это штой-то тут у вас за оргия така? Чё орать-то почём зря?

Обрыдкина всегда прислушивалась к тётке Клаве, которая часто обогащала её лексикон. Поэтому она незамедлительно взяла карандаш и записала: «Оргия – когда сильно орут». А тётя

Клава, обнаружив в кабинете вполне пристойную картину, чтобы как-то объяснить логику своего неожиданного появления, продолжала уже более миролюбиво.

– Накурили тут, ироды. А ну-тка, скидавай-тка усё из карманОв – мусор там разный, окурки, кантрактивы всякия! Подмету уж.

Пиндюрин оценивающе оглядел новый персонаж с головы до ног, перевёл взгляд на профессора и вопросительно кивнул в сторону уборщицы. Нычкин, конечно, сразу же согласился.

– Как замечательно, уважаемая, что вы заглянули к нам, так сказать, на огонёк, – Алексей Михайлович расплылся в самой добродушной улыбке, на которую был способен. – Вы даже себе не представляете, как можете нам помочь, – он подплывал к прибывшей, словно павлин к павушке. – У нас к вам маленькое, но весьма ответственное поручение. Ничего сложного, просто надо нажать вот эту кнопочку, и всё, – и он протянул тете Клаве мобильник.

– Ты никак обезумел, сердешный, – она одарила Пиндюрина одним из тех взглядов, которые одинаково успешно могут выражать и: «Ну-тка, скажи-тка мне ещё чё-нито эндакое, с выкрутасами, оченно мне энто ндравится!», и: «Пошёл прочь, охальник, не вишь чё ли, я занятая!». – Я тебе не фельдфебель какой-нито, пимпы жмать. Говорю же, скидавай мусор с пазух, подмету.

Изобретатель, получив отпор с фронта, решил изменить тактику и зайти с тыла.

– Вы неправильно меня поняли, – сказал он, принимая серьёзное, даже строгое выражение. – У нас пропали важные документы, каждый под подозрением, так как все мы находились в кабинете. Нужно вызвать милицию, и сделать это должен человек, так сказать, нейтральный, незаинтересованный. Вам всё понятно?

– Чё ж тут не понять-то, чай не Спиноза кака-нито, понимаю. Тырють дружка у дружки чё ни попади, а честным людяМ расхлёбывай. Ладно уж, давай мобилу.

Все напряглись в ожидании. Нычкин, не сводя глаз с тёти Клавы, трясущимися руками пытался вытащить из пустой уже коробочки таблетку валидола. Обрыдкина нервно грызла карандаш. А Женя с восхищением наблюдал за сенсацией, которая вот-вот должна произойти. Даже сам Пиндюрин нервничал, вытирая несвежим носовым платком влажную от пота лысину. Только тётя Клава была спокойна, как удав. Она взяла Nokiu, нажала нужную клавишу, поднесла аппарат к уху, и в это самое мгновение...

IV. Золотой чемодан

(Лирическое отступление N1, к теме повествования особого отношения не имеющее)

В дверь кабинета Народного Комиссара Внутренних Дел тихо, но настойчиво постукали. Очень серьёзный человек в интеллигентском пенсне, в сером твидовом костюме, маленьких усиках под орлиным носом и в огромной, с футбольное поле кепке на лысеющей голове отвлёкся от разглядывания большой чёрной мухи на оконном стекле. Он снял пенсне, подышал вчерашними парами Киндзмараули на левое стёклышко, тщательно протёр его носовым платком, поплевал на правое, так же протёр и, водрузив оптический прибор обратно на нос, принял важную государственную позу.

– Н-да, захады!

Дверь открылась, и на пороге кабинета появился бравый майор в зелёном форменном кителе, синих шароварах и блестящих хромовых сапогах. Вошедший боец невидимого фронта вытянулся во фрунт и щёлкнул каблуками.

– Разрешите войти, товарищ нарком?

– Ты уже вашёл.

– Разрешите доложить, товарищ нарком?

– Гавары. Што там у тебя страслос?

– Товарищ нарком, к вам человек. Просит принять.

– Што такое? Ка-акой такой чэлавэк? Па-а какому ва-апросу?

– Инженер, товарищ нарком. Говорит, по очень важному и срочному делу. Государственной важности, говорит, дело.

– Ну, так пуст изложит на бумаге. А ви там разберитэс и мнэ далажите. Может, ерунда какая, а ви беспакоеите На-ароднаго Камиссара. У меня што, важных дел нэту?

– Прошу извинить, товарищ нарком, о вашей загруженности вся страна знает. Просто дело у него особой секретности, говорит, только непосредственно вам может доложить. Либо товарищу Сталину. Прикажете направить в приёмную Генерального Секретаря ЦК ВКП (б)?

– Э-э! Нэ нада векапебе. Давай ево суда, сам разберус. Нэ хватала ещё та-аварышша Сталына от дэл атрывают. Завады.

Майор лихо развернулся на сто восемьдесят градусов, ещё раз щёлкнул каблуками, и, чеканя шаг, вымаршировал из кабинета. Через минуту он вернулся, введя с собой шупленького, среднего роста очкарика с взъерошенными кудряшками на голове, в полосатой тенниске, парусиновых штанах и сандалиях крест-накрест. Очкарик неловко переминался с ноги на ногу, теребя в руках клетчатую кепку. На вид ему было что-то около тридцати.

– Здравствуйте, товарищ нарком, – неуверенно промямлил он.

– Здравствуй, дарагой. Прахады, садыс. Кто такой, за-ачем пажялавал? – с напускной строгостью ответил нарком, хотя по натуре своей был человеком добрым и исключительно мягким.

– Я, это..., по делу к вам.... По важному делу...

– У меня, дарагой, нэ важных дел не бывает. Садыс, гавары.

Вошедший продолжал нерешительно переминаясь с ноги на ногу, теребя в руках уже изрядно пострадавшую кепку.

– Ну, што ты, как дэвушья? Садыс, я не кусаюс. Или ты хочешь, штобы я тебя пасадыл?

– Нет! Нет! Что вы, уж лучше я сам. Это... дело конфиденциальное, товарищ нарком.

– Кон што? Как сказал? Какой такой кон? Зачем кон? У тебя кона укралы, да? И ты пасмел беспакоеит меня по таким пустякам, го? Или ты сам кона украл?

– Нет, товарищ нарком, вы не поняли..., простите, я не так выразился... Дело, по которому я вас посмел беспокоить, очень секретное и очень важное. С конём я бы не стал, что вы. Да у меня и коня-то никогда не было...

Человек в пенсне, наконец-то понял причину нерешительности посетителя и обратился к майору.

– Алёша, принеси нам с таварищем ..., э-э как твой фамилия?

– Лебедянчиков, товарищ нарком. Моя фамилия, Лебедянчиков.

– Алёша, принеси нам с таварищем Леблед..., э-э, мне и ему. Чаю, па-ажялуста.

– Грузинского? – уточнил майор.

– Ему грузынскава, а мне армянскава. И с лымоном, па-ажялуста.

Майор ещё раз повторил отточенный за годы безупречной службы пируэт со щелчком каблуками и удалился из кабинета.

– Ну, садыс, гавары.

Грозный нарком вальяжнее расположился в кресле и указал на стул странному посетителю. Очкарик, наконец-то, сел, оглядел ещё раз кабинет и, наклонившись как можно ближе к уху наркома, заговорщицким шёпотом произнёс.

– Капитала больше нет.

– Нэт, да? Как эта, нэт? Куда же он падевалса? Испарылса, да?

– Никак нет, товарищ нарком, я не шучу, я серьёзно. Капитала... это... правда, больше нет.

– Как нэт?

– Совсем!

– Э-э, не темны, што такое нэт? Вчера биль, утром биль, в обед тоже биль, а тепер нэт? Што Ротшильд нэт? Черчилль нэт?

– Совершенно верно, товарищ нарком, никого их больше нет. Им пришёл,... понимаете,... конец им пришёл! Мы их... победили!

– Да-а? – грозный нарком недоверчиво вглядывался в глаза очкарика, ожидая обнаружить в них какой-то подвох, но видел только чистое небо и искреннюю убеждённость, отчего пришёл в некоторую нерешительность и даже какую-то, если так можно выразиться, оппортунистическую мягкотелость. – Пачему?

Очкарик открыл, было, рот, чтобы окончательно добить собеседника неопровержимостью фактов, но осёкся, так как в дверь кабинета постучали. Через секунду на пороге нарисовался всё тот же майор Алёша с подносом в руках.

– Разрешите войти, товарищ нарком? Ваш чай...

– Ты уже вашёл! – нарком заметно нервничал, наверное, от нетерпения. – Постав на стол и ухады. Ми заняты.

Майор Алёша вышел.

– Пей чай, дарагой. Настоящий, грузынский, не марковный, – попотчевал гостя хозяин кабинета, наливая себе, в свою очередь, армянского... в маленькую рюмочку. – Лымон бери. Так что ты гаваришь? Канэц, да? Пачему канэц? Абаснуй.

– Так точно, товарищ нарком, конец! Конец всему мировому капиталу! Понимаете, мы их победили! Мы их похороним на обломках их же прогнившей насквозь и дурно пахнущей демократии! Капитала больше нет! Империализма больше нет! Наступает эра всемирного торжества социализма! Да что там социализма, коммунизма! Коммунизма и милосердия! Милосердия и Диктатуры Пролетариата! Светлая заря, зажжённая Великим Октябрем, расцветает, ширится и полыхает всемирным пожаром Мировой Революции на пепелище нашей родной России! Нет больше богатых! Нет больше бедных! Никого нет – все равны, представляете!? Наступает эра всеобщего равенства! Равенства и братства! И абсолютной Свободы! Свободы и Законности! И сделали это мы, представляете, товарищ нарком, Мы!

– Кто эта ми?

– Мы – Советский народ! Мы с вами! Вы и я,... и товарищ Сталин, разумеется!

– Да-а? А как ми эта сделали? – всё ещё недоумевал человек в пенсне и кепке, сбитый с толку не в меру воодушевлённой речью очкарика.

– Легко!

– Да-а?!

– Да вам собственно и делать-то ничего не надо. Я всё уже сделал!

– Да-а? А што ты сделал?

– Можно сказать без преувеличения, что я нашёл философский камень!!!

Народный Комиссар Внутренних Дел – человек по натуре кроткий и даже, где-то, ранимый, но по долгу своей службы внушающий трепет и содрогание миллионам и миллионам советских граждан. Человек, чьё имя при одном только упоминании поражало в самое сердце и обращало в позорное, паническое бегство многочисленные орды врагов народа, как внутри страны, так и кое-где за её пределами. Этот кремень несокрушимой советской твердыни сидел сейчас за столом своего кабинета на Лубянке, хлопал глазами под пенсне и чувствовал себя натуральным ослом. Что-то ему не нравилось в таком положении вещей.

– Камэн? Какой камэн? Слушай, дарагой, не таратор, объясны толком, да! Какой такой камэн?

– Философский! – привстал для многозначительности очкарик, неистово теребя в руках кепку.

В кабинете повисла тяжёлая, нескончаемая пауза.

– Па-аслушай, дарагой, – наконец, не выдержал заминки нарком. – Я тебя прашу, честный слова, па-ажялуста, нэ терзай ты так этот кэпка. Обидна, панимаешь! Если я вазму и буду мят, ламат и даже кусат шапка-ушанка, тебе пириятна будет, да-а?

– Простите, товарищ Нарком, – очкарик успокоился и сел на своё место. – Увлёкся.

– Го-о! Пей чай и гавары падробна. Што за камэн такой? Зачем он?

– Видите ли, товарищ нарком, философский камень – это аллегория.

– Да-а? Какой алигория? Зачем?

– Дело в том, что я сконструировал аппарат, обращающий в золото,... Как вы думаете что?

– Што я думаю?

– Обыкновенное дерьмо! Самое обыкновенное, которого у нас завались, хоть жо..., простите, очень много. Прошу заметить, вместе с тем, что золото получается самое настоящее, высшей пробы, в слитках и даже с клеймом Центробанка. Вы представляете, если наладить промышленное производство золота из дерьма, то вскоре мы купим весь мировой капитал с потрохами. У них там во всём мире не сыщется столько золота, сколько дерьма у нас тут с вами. Да что там?! В одной только Москве его больше чем во всём остальном мире. Причём, заметьте, запасы дерьма постоянно и безостановочно пополняются без каких-либо затрат и усилий с вашей стороны. Стоит только немного подкормить народ – а лучше много, побольше – организовать приёмные пункты по сбору продуктов его жизнедеятельности – то есть понастроить везде общественных сортиров – и наши с вами законопослушные граждане сами потащат, без какого-то ни было принуждения и в любом количестве. Это же Клондайк!

Очкарик снова увлёкся. Он уже ходил взад-вперёд по кабинету, размахивал руками, пытаясь таким образом смоделировать неисчерпаемые запасы собранного дерьма, настолько живописно рисовал картину будущего процветания социализма, что в кабинетном воздухе даже повис характерный запах этого самого процветания. Наконец, он притомился, упал на свой стул и, залпом выпив стакан остывшего уже чая, уставился своими чистыми, как небесная лазурь глазами на народного комиссара.

Тот сидел, не шевелясь, с искажившимся не то от радости, не то от чего-то ещё лицом и не знал, как ему реагировать и что ответить. В самом деле, предложение было столь неожиданным и столь неформальным, что временами ему хотелось просто шлёпнуть этого нахала, несмотря на всю свою природную доброту и широту души. Причём шлёпнуть без суда и следствия, как самого оголтелого английского шпиона и троцкиста в одном лице. Но с другой стороны, какая-то стахановская увлечённость вопросом и неподдельная искренность очкарика завораживала и как-то удерживала от скоропалительных решений.

Наверное, всё-таки извечный русский вопрос «Что делать?» каким-то невообразимым образом отразился в искажённом гримасой лице наркома, потому что прозорливый изобретатель вдруг с надрывом спросил.

– Как, вы ещё сомневаетесь??? Но я же принёс действующую модель аппарата. Прикажете внести, и я продемонстрирую вам его. И тогда уж... ну я не знаю... если и тогда, то...

Через несколько минут на наркомовском столе лежал самого обыкновенного вида чемодан средних размеров.

– Вот! Вот мой аппарат! Это конечно только модель, но, заметьте себе, действующая. В случае необходимости я берусь собрать промышленный образец мощностью до ста тонн переработки дерьма в день, что на выходе даст объём до десяти тонн самого чистейшего золота. Легко подсчитать, что мировой капитал доживает последние месяцы. Это агония, товарищ нарком.

Очкарик достал из кармана маленький ключик, отпёр замочек чемодана, откинул крышку, под которой действительно оказался какой-то прибор, занимающий собой всё его внутреннее пространство. Нарком внимательно и недоверчиво следил за всеми движениями

нахала. В уверенных действиях очкарика было что-то завораживающее, внушающее глупейший, на первый взгляд, вопрос: «А что если и, правда – золото?»

– Вот я набираю секретный код, известный только мне и никому больше, и запускаю аппарат, – в чемодане что-то еле слышно загудело, – ...аппарат запущен. Теперь я беру килограмм дерьма. Я специально для эксперимента захватил собачьи экскременты, прошу прощения за поэзию, – он достал откуда-то пакет из плотной бумаги и потряс им в воздухе, демонстрируя тем самым, что в пакете что-то есть, – ...кстати, дерьмо может быть самым разнообразным, хоть собачьим, хоть коровьим, хоть человеческим, что существенно расширяет наши с вами возможности. Так вот, помещаем пакет с дерьмом в этот резервуар, закрываем крышечку, и нажимаем «Пуск», – аппарат загудел заметно громче, кроме того, в нём что-то зацокало и даже, как показалось наркому, забулькало, и замигали разноцветные лампочки. Впрочем, это продолжалось всего секунд пять-десять, – ...вот, пожалуйста, готово. Что вы на это скажете?

В боковой стенке чемодана открылась какая-то крышечка, из образовавшегося окошечка выехала платформочка, на которой лежал, сверкая гранями, стограммовый слиток жёлтого металла, удивительно напоминающего золото. Очкарик взял его в руку, потряс им в воздухе и передал ошалевшему наркому.

– Эта што? Эта золата? – сконфузился человек в пенсне и брезгливо принял слиток двумя пальцами.

– Ещё какое, самой высшей пробы! Если сомневаетесь, отошлите на экспертизу.

Народный комиссар не заставил долго себя уговаривать, скрытой кнопкой звонка вызвал майора и велел срочно провести экспертизу данного металла.

«Э-э! – думал про себя грозный нарком, с хитрым прищуром взирая на совсем уж обнаглевшего очкарика. Тот наливал себе уже третий стакан чаю, причём в каждый клал аж по четыре куска белоснежного рафинада, пока майор Алёша пропадал в недрах заведения за изучением неизвестного вещества. – Э-э! Да разве может бит золата из дерма?! Это, канэшья, нэ золата, а крашенный дермо. А если даже и золата, то значит она биль у него в этот пакет, а нэ дермо. Шютник, я тебе щас пакажу, как смеяться нада мной – сгнаю в падвале, а патом шлёпну, как врага народа. Шалунишка».

Каково же было его удивление, когда вернувшийся майор положил на стол заключение экспертов, из которого явствовало, что исследуемый металл есть не что иное, как самое настоящее золото, причём наивысшей пробы. Что же касается клейма Центробанка, то оно вообще оказалось всамделешным. От такого неожиданного заключения стёклышки пенсне как-то вдруг разом запотели, а козырёк кепки приподнялся и принял почти вертикальное положение.

– Вы удивлены, товарищ нарком? Но я же вам говорил, – самодовольно и как-то даже развязно произнёс очкарик. – Или вы предполагаете, что в качестве исходного материала я использовал этот самый слиток, а не собачье дерьмо? Вы так думаете?

– Да-а, я так думаю! – ответил нарком, приподняв указательный палец правой руки вверх.

– Я это предвидел, – несколько не смутился очкарик. – Поэтому готов повторить эксперимент ещё раз, теперь уже с вашим дерьмом, – и он протянул комиссару пакет из плотной бумаги. – Пожалуйста, прошу вас.

– Што эта? Што, я должен...?

– А что тут такого? – изумился очкарик. – Я преклоняюсь перед вашей принципиальностью, в науке необходимо решительно отметать всякие сомнения и строго следить за чистотой эксперимента. К сожалению, моё дерьмо не годится, из соображений объективности, а то скажете, что оно у меня какое-нибудь особенное. А своё-то вы знаете, в своём-то вы уверены. Не тушуйтесь, товарищ нарком, берите пакет, – и он вложил-таки упаковку прямо в руки растерявшемуся главе карательных органов.

Зомбированный эдаким нахрапом нарком послушно отправился в смежную с кабинетом комнату, откуда вскоре вернулся, держа в руках тот же пакет, в котором что-то уже было и даже слегка пахло. Очкарик принял из его рук исходный для производства золота материал и поместил в специальный резервуар аппарата. Чемодан прерывисто загудел с каким-то надрывом, а на панели замигала красная лампочка. Что-то ему не понравилось в наркомовском дерьме.

– Да-а! – недовольно заметил очкарик.

– Што такое? Пачему эта? Мой дэрмо ему не падходит, да?

– Нет, что вы, товарищ нарком, качество исходного материала особого значения не имеет, я же говорил вам. Просто количество не достаточное для проведения эксперимента. Необходимо минимум килограмм, а тут всего грамм шестьсот-семьсот. Вы не могли бы добавить?

– Я больше не магу. Больше у меня нэту, честный слова. Нэ веришь, да? Мамоу клянус!

– Ну, так прикажите кому-нибудь из своих, пускай доложат.

Человек в пенсне неловко замялся.

– Э-э! Дарагой! Што ты гаваришь такое? Нэ магу же я сказат ему: «Эй, слушай, Алёша, на тебе этак пакет, насры туда трыста грамм и принеси мне, па-ажялуста».

– Да-а, – задумался очкарик, – могут возникнуть подозрения, секретность нарушится. Положение серьёзное. Что же делать?

– Слушай эй, таварищ Леблед...

– Лебедянчиков моя фамилия.

– Да, таварищ инженер, я тебе верю, твой дэрмо тоже хароший, честный слова. Будь другом, генацвале, насры туда трыста грамм, как брата пращу, я не буду самневатса, мамоу клянус, да.

– Ну, хорошо, – согласился после некоторого раздумья очкарик. – Делать нечего, придётся мне внести, так сказать, свою лепту.

– Внесы, дарагой, внесы.

Очкарик внёс, и через несколько минут аппарат, погудев и помигав лампочками, выдал точно такой же, как и первый, слиток благородного металла жёлтого цвета.

– Ва-ах! – только и сумел произнести изумлённый нарком.

– Экспертизу проводить будете?

– Не нада, дай суда, я сам пасматру.

О Боже! Как слаб и изменчив человек! Какое мистическое влияние на него подчас оказывают внешние обстоятельства, определяя низменным бытием его одухотворённое сознание! Какие метаморфозы, какие непредсказуемые игры судьбы с ним могут произойти под влиянием изменчивой Фортуны. Бывало, живёт себе человек – ест, пьёт, спит, трудится, добывая в поте лица хлеб свой. Звёзд с неба не хватает, ничем особым не отличается от миллионов сограждан, таких же, как он тружеников. То есть ходит в должность, в остальное время сидит дома, имеет себе какое-нибудь безобидное и, может даже, полезное, интересное хобби. Любит жену, детей, иногда весел, или напротив, грустит, достаточно добр, в меру справедлив, ... Короче говоря, являет себя самым обыкновенным человеком, дорогим для близких и незаметным для окружающих. И так, видит Бог, прожил бы свою жизнь спокойно и полезно. А ведь нет же! Возьми, да и в один прекрасный день выиграй по копеечной лотерее целое состояние – рублей триста или пятьсот, а то может и целую тысячу. Что тогда происходит с человеком, какие превращения претерпевает его бессмертная, мятущаяся душа? Вот вопрос. Вот метаморфоза. Вот казус, однако.

Грозный наркомвнутдел, глава целого ведомства, причём государственного, строгий вершитель многих сотен тысяч человеческих судеб сидит теперь себе в мягком кожаном кресле и с идиотским выражением на лице играет с двумя маленькими кирпичиками жёлтого металла, будто в них заключается вся его радость, всё его счастье. Как ребёнок, право.

– Ва-ах! Вах, вах, вах! Слушай, дарагой, а твой чемадан камушки там разный нэ делает? Нэт? Абидна, да? Ва-ах, вах, вах!

Но расчётливый, оперативный ум уже просчитывал комбинации действий на два, да что там, на пять ходов вперёд. А именно, как бы избавиться от докучливого очкарика, который наверняка уже лет десять работает на английскую и американскую разведки, и присвоить заветный чемодан себе, в безраздельное, единоличное пользование? Уж чего-чего, а дерьма-то кругом действительно навалом, и в этом очкарик, безусловно, прав, а вот с золотом у бедного наркома напряжёнка.

– Заметьте, – перехватил ход мыслей «англо-американский шпион», кидая четвёртый кусок сахара в пятый стакан чая, – секретный код доступа, без которого аппарат запустить невозможно, знаю только я один. И никому не скажу. Даже вам. Это не от недоверия, конечно, а из соображений секретности, потому что где знают двое, там знают все. Ну, разве только товарищу Сталину.

Человек в пенсне перестал играть золотыми слитками и заметно насторожился. Имя Лучшего Друга и Вождя Народов приводило в трепет даже его.

– Кстати, попытку несанкционированного проникновения внутрь аппарата он расценивает как диверсию и самоуничтожается.

– Кто, Сталын?

– Да что вы, товарищ нарком, аппарат, конечно.

– Да-а? Пряма сам уничтожается, да?

– Сам.

– Как эта?

– Взрывается.

– Да-а?! Сылна?

– Достаточно. Мало не покажется.

– Ва-ах! Какой умный машина.

Человек в пенсне, привстав со своего кресла, внимательно рассматривал чемодан. У него созрел уже новый, более коварный план.

– Слушай, дарагой, будь другом, прайдай чемадан. Я тебе дам тыщу рублей!

– Да что вы, товарищ нарком, как можно? Я не ради денег старался, а для пользы Отечества, во имя Мировой Революции, значит.

– Зачем, дарагой? Не нада ревалюция, ми их и так пабедим. Десять тыщ! Что мала, да? Э-э! Сто!

Торг продолжался уже три часа. Наконец, компромисс был найден, и обоюдовыгодное соглашение подписано. Вечером того же дня из застенков Гулага был освобождён академик Лебедянчиков – отец очкарика, осуждённый полгода тому назад за шпионаж в пользу Англии. Уже ночью он был доставлен в подмосковный аэропорт Чкаловский, где его встречали жена – мать очкарика и сам инженер Лебедянчиков с выправленными документами на выезд из СССР для всех троих. И только когда самолёт с беженцами из социалистического рая приземлился в одной из западноевропейских стран, сопровождавшему их лицу в штатском был передан запечатанный конверт, на котором значился короткий адрес: «Народному Комиссару Внутренних Дел. Лично в руки. Совершенно секретно».

Человек в пенсне до самого утра не сомкнул глаз, ожидая заветный конверт и не отходя от «золотого» чемодана. Наконец, пакет был доставлен. Он нервно вскрыл его и прочитал на вложенном в конверт клочке бумаги четыре цифры: «1953». С этого утра Народный Комиссар Внутренних Дел как-то изменился. Он вдруг пожаловался на расстройство желудка, долго просидев взаперти в соответствующем заведении. Потом его заметили гуляющим в гордом одиночестве по паркам и скверам Москвы и собирающим что-то в пакет. Так продолжалось целый день, в течение которого он был весел, приветлив с подчинёнными и даже снисходителен

к осуждённым и подследственным. Но вечером он вдруг впал в неопишемую ярость и жестокость, о причине которой никто не мог догадаться.

Вскоре умер Вождь Народов, товарищ Сталин, а впоследствии был арестован и сам грозный нарком. Когда описывали его кабинет, то в смежной комнате нашли странный чемодан, от которого невыразимым образом воняло. Когда чемодан вскрыли, то кроме огромного количества дерьма обнаружили в нём нехитрую электрическую схему. Та приводила в действие несколько разноцветных лампочек и простейшее устройство с пружинкой, которое открывало крышечку сбоку чемодана и выдвигало через небольшое окошко некую платформочку. Каково функциональное назначение этого устройства, и зачем в нём хранили такое количество дерьма, так и осталось тайной, покрытой мраком.

V. Подмосковные вечера

Тётя Клава взяла Nokію, нажала нужную клавишу, поднесла аппарат к уху, и в это самое мгновение...

...ничего не произошло. Вернее произошло, но не с уборщицей, а с профессором Нычкиным. Нет, он никуда не переместился. Вернее сказать, переместился, но недалеко. А если ещё точнее – он поменял своё и без того не очень-то вертикальное положение в пространстве на полностью горизонтальное. С профессором от волнения случился сердечный приступ, и он, как стоял возле сейфа, так и рухнул на пол, разбив вдребезги фляжечку и разлив драгоценный коньяк. Пока возились с Нычкиным, оказывали ему первую помощь, вызывали скорую, объясняли руководству учреждения, а затем медицинским работникам, что собственно произошло, ... Короче говоря, пока суд да дело, Израиль Иосифович благополучно вернулся в себя. От госпитализации он отказался, но, взяв бюллетень, отправился домой, на все лады ругая Пиндюрина с его антинаучной якобы машиной времени, а заодно и всех остальных изобретателей. Впрочем, как и весь научно-технический прогресс в целом, от которого одни только хлопоты и мигрени.

Кстати о Пиндюрине. О нём в суматохе как-то поначалу забыли, а когда вспомнили, то ни его самого, ни его Nokіи уже нигде не было. Хотели спросить у тёти Клавы, но она тоже испарилась вместе с ведром, шваброй и тряпкой. Вот такие дела. Пришлось, и в самом деле, вызывать милицию. Но когда та приехала вместе с собакой, уборщица неожиданно нашлась. Она преспокойненько сидела себе в своей каморке под лестницей в окружении нехитрого инвентаря и напевала популярную некогда песенку «Ландыши», только почему-то на немецком языке. Откуда тетя Клава, никогда не бывавшая в Германии, узнала немецкий, и что с ней произошло во время испытания машины времени, выяснить так и не удалось. На все расспросы она только заговорщицки хихикала и, театрально запрокинув голову, повторяла: «Ах, оставьте меня, охальники. Ту би, ор нот ту би».

Даже товарищ Обрыдкина поначалу как-то потерялась.... Но вскоре нашлась. Она случайно обнаружилась в милицейском УАЗике, лихорадочно тыкающей сосисочными пальцами в кнопки рации. Что-то у неё не получалось никак, отчего она сильно страдала и нервничала.

Да. Нехорошо как-то всё получилось, неправильно как-то.

Только Женя Резов остался во всей этой суматохе самим собой. Хотя и заметно расстроился от неудачи эксперимента. Ведь это же был его первый рабочий день, и он так хорошо начинался. А теперь... С такими вот невесёлыми мыслями ехал Женя в переполненном, как всегда, вагоне метро домой. Было душно и обыденно. От сограждан, плотно обступивших его со всех сторон, пахло маринованными огурцами, потом вперемежку с дезодорантом «Свежесть» и чем-то ещё специфическим, что обычно насыщает воздух метро в час пик. Ноги ныли от долгого стояния, в животе урчало, булькало и нехорошо вибрировало, поднимая кверху неприятную, социально опасную волну. В голове тикало и кружилось, как в центрифуге, наве-

вая тревогу и опустошающую грусть. От утреннего многообещающего настроения не осталось и следа. Хотелось упасть и забыться.

В том же вагоне, неподалёку от Жени ехала небольшая компания девчонок, лет семнадцати, не больше, в яркой боевой раскраске и недвусмысленном прикиде, с явным намерением где-нибудь затусить. Они беззаботно щебетали всякую чушь на понятном им одним сленге – модном ныне винегрете из русских и некогда английских слов, от которого русский язык ничего не выиграл, а английский многое потерял. Рядом стоял маленький, щупленький старичок с авоськой. Ноги его тряслись от слабости, и если бы не плечи и локти плотно обступивших его сограждан, он непременно бы рухнул на пол вагона, хотя это вряд ли бы кто заметил. Нос старика упирался в не по годам развитую грудь одной тинейджерши. И не потому, что она хорошо пахла, или чем-то ещё заинтересовала ветерана. Просто выбора у него не было. Такое положение весьма стесняло старика, и он всячески старался найти из него выход. Но как только в пространстве появлялось хоть какое-то место для носа, там тут же оказывалась и грудь. Можно было бы конечно возмутиться, сделать замечание, или хотя бы попросить девицу подвигнуться, но воспитанность и природная скромность патриарха не позволяли ему этого сделать.

Вдруг старика осенило, выход нашёлся сам собой. Вернее не совсем ещё выход, но повод завести разговор оказался как нельзя кстати. На высокой груди тинейджерши, так досаждавшей старику, красовался большой круглый значок белого цвета с непонятными, заграничными буквами следующей конфигурации: **«I'M GLAD TO GIVE TOO YOU»**.

- Дочка, ты прости меня старика, разреши вопрос задать, – забросил удочку дед.
- Чё те надобно, старче, – ответила «Золотая рыбка».
- Скажи на милость, а чего это тут у тебя написано такое, не пойму никак.
- Тут, дед, написано: «Ам глад то гиве ту ёу».
- Как сказала? Не разобрал что-то.
- Глухой чё ли? «Ам глад то гиве ту ёу», понял?
- Понял. Вот теперь, милая, понял. А то смотрю и никак в толк не возьму. И главное ведь вижу, что Амглад..., а вот что он гиве именно ту ёу, не разберу. А как ты мне старому всё разъяснила, так сразу же и понял. Только вот вопрос, а это по-каковски же?
- Это на инглиш, дед. Ты по инглиш-то спикаешь?
- Чего сказала-то?
- А-а! Тебе не понять.
- Дык ты, дочка, объясни мне старому, что этот вот «Амглад» по-русски означает?
- А я знаю? Я те чё, переводчик чё ли?
- Так что ж тогда нацепила-то?
- А чё, прикольный значок.
- Да я вижу, что прикольный, не пришитый. А что на нём написано-то такое?
- Отстань, дед, чего прилип?
- Тут, дедушка, написано... – в диалог вмешался стоящий рядом интеллигентного вида мужчина в очках и шляпе, – ...«Я рада»... хм, как же это лучше сказать...? «Я рада... уступить вам».

– Весьма вам признателен, молодой человек, – поблагодарил интеллигента старик. – Так значить, уступишь? – снова обратился он к девице, – А то я уже и не знаю, куда деваться от твоих... гм... прелестей.

- Ты чё, дед, угорел, не иначе? А не поздновато ли тебе? Еле стоишь ведь, а всё туда же.
- Да, дочка, сил уж маловато осталось, потому и прошу, что б ты, значит, сама мне, ну это самое, уступила то есть. Мне-то тебя тормозить уж не сподручно, так ты бы уж сама, а.
- Ну, ты, дед, даёшь. А бабки-то у тебя есть?
- Бабки? А что бабки? Бабок-то полон дом, только на кой они мне, старому, сдались-то? Мне бы воздуха свежего глотнуть.

– А не жалко бабок-то?

– Да что ты всё о бабках? Чего их жалеть-то? Они ж зелёные ещё – меня переживут!

А мене уж не долго топтать-то.

– Ну, дед, ты, я вижу, ходок ещё тот. Тебе всех нас троих, или на меня только запал?

– Да ну! Куда там троих, мне шибко много не надо. Ты вот только уступи мне старому маленько, да и будет с меня.

– Ладно, старче, уговорил. Хата твоя, или на моей территории?

– Твою, дочка, твою территорию. Мне бы только воздуху глотнуть.

– Ну, пойдём тогда, нам выходить.

– Давай, дочка, иди с Богом, спасибо тебе.

Поезд остановился на очередной станции, компания тинейджерш с шумным смехом направилась к выходу, а вместе с ними ещё полвагона. Старик сел на освободившееся место и с большим наслаждением вдохнул всеми лёгкими порцию воздуха.

Вагон снова наполнился до отказа новой партией пассажиров, и поезд помчался дальше.

Полная, румяная дама в кримпленовом брючном костюме в яркую крупную розу, и огромных увесистых серьгах в ушах поднялась со своего места недалеко от Жени. Она всколыхнула собой раскалённый воздух, привнеся в почти привычный букет запахов аромат не то дикой степной орхидеи, не то горной лаванды. Дама поспешно направилась к выходу, работая во все стороны локтями и бёдрами. Несколько стоящих до сих пор пассажиров, обезумевших от внезапно свалившейся на них удачи, как по команде ломанулись к освободившемуся месту, но... Женя был первым. Не обращая внимания на ропот и косые взгляды менее удачливых попутчиков, он запрокинул голову, закрыл глаза и постарался забыться. Резов успел ещё подумать о том, как бы ни проехать свою станцию, но утешительная мысль, что поезд движется по Кольцевой линии, окончательно успокоила его. И, как оказалось, напрасно.

– Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – «Площадь Революции», – услышал он через пару мгновений.

«Однако быстро, – подумал Женя. – Не успел присесть, как уже „Площадь Революции“. Потом „Курская“, дальше пару остановок на электричке и дома. Можно ещё минут пять-семь подремать... Стоп! Как это, „Площадь Революции“? Какая „Площадь Революции“? Я же на Кольцевой...».

Сон как рукой сняло. Женя открыл глаза и вскочил с места... но тут же снова плюхнулся на диван. Вагон был пуст. Вернее, почти пуст. Никакой давки, никаких «ароматов», насыщающих атмосферу вагона, уже не было. Только прямо перед ним, буквально в одном шаге стояли холёные, с иголки одетые мужчина средних лет и молодая шикарная дама. Они в упор рассматривали Резова. Несколько поодаль находились два огромных бритоголовых амбала в чёрных костюмах и чёрных же очках.

– Здравствуйте! – с очаровательной улыбкой произнесла дама.

– З-д-рав-ствуй-те, – еле выдавливая из себя звуки, ответил Женя.

– Добренький вечерочек! – подхватил нить разговора мужчина. – Ви извиняйте, що ми к вам обращаемось, ми сами люди не местные, приезжи...

– Из Киева... – уточнила дама.

– Да, з Кыиву ми, щось у України. Чулы, мобуть? – мужчина очень волновался, с трудом подбирая нужные слова, и постоянно озирался на свою более уверенную спутницу. – Ми тилькы з Канади. У Канади ми булы, ось...

– Муж был болен...

– Хворый я був, бач, болыть щось, аж неможливо...

– Ему необходима была срочная операция...

– Операция в мэни, да-а! У копчику болыть щось...

Мужчина нервно бегал взглядом то на жену, то на Женю, стараясь не упустить нить разговора и вставить очень важную, на его взгляд, информацию. От волнения он даже вспотел.

– Очень сложная операция...

– Ну-у! Ликар ризав мэни. Да-а! Ножиком прямо, бач, тильки вжик, и усэ...

– Очень...

– И щэ клави́строхвобия в мэни, да-а!

– Очень дорогая операция...

– Да ни хай. Щось грошыв нэмае що ли?

– И сделать её могли только в Канаде...

– Ну. Цэ ж и я кажу. Тилькы у Канади и бильш нигде...

– Мы пробовали обращаться в Москву...

– Ни-и! Бач, москали ни могут, ага. Знаниив в них нэмае, чи аппаратив яких, чи що...

– А в Канаде операцию, слава Богу, сделали...

– Да-а! Усэ слава Богу!

– Операция прошла успешно...

– Дужэ гарно, бач, аж не пыкнув я, – мужчина склонился к самому уху Жени и сообщил по большому секрету. – Спав я, ага, нычого ни чул...

– И теперь мы возвращаемся домой...

– У Кыив ми повертаємось!

– Через Москву...

– Ну да, у Москву ми прыйихалы, бач. Вжэ ми булы у Хвранции, у Парыжу... яки тамо дивки гарны, я тоби кажу...

– Ты опять? – дама строго посмотрела на мужа.

– Да ни, ни, кыся, я ни що. Ни чого особлывого. То ж я кажу, дивки тамо дуже худючи, як прутя з виныку, одни мослы стрычать, ухопытыся тож ни за що...

– Дело у нас в Москве очень важное...

– Це так. Усэ так. Чиста правда-матка. Допомохты трэба...

– У меня нет ничего, – наконец-то нашелся, что сказать Женя.

– Нет! Нет!

– Ни-и! Ни-и! – замахал руками мужчина. – Звиняйте, що ми к вам обращаемось, в нас у Москви никого нэмае, оце ми до вас...

– Не откажите...

– Но я же говорю вам, у меня нет ничего, – Женя уже начал терять терпение, и хотел было встать и отойти, но неожиданно один из до сих пор стоявших неподвижно амбалов подошёл к нему вплотную и раскрыл большой чёрный кейс прямо перед его носом.

– Не откажите в любезности – возьмите, сколько сможете.

Кейс был доверху набит аккуратно сложенными банковскими упаковками по десять тысяч долларов в каждой.

– Будь ласка, возьми скількы потрибно. В нас ще йе.

От неожиданности Резов снова плюхнулся на диван и, ничего не понимая, смотрел то на кейс, то на умоляющие физиономии просителей.

Видя Женину растерянность, мужчина ещё больше заволновался и, вытирая носовым платочком крупные капли пота с лица, попытался хоть как-то помочь ему. Ну, приободрить как-то.

– Бач, клави́строхвобия в мэни.... У копчику болыть щось...

– Станция «Площадь Революции», переход на станцию «Театральная», – раздалось из динамиков.

Женя вскочил, опрокинув кейс и рассыпав долларовые пачки, и выбежал прочь из вагона. Двери с шумом закрылись, поезд тронулся, быстро набирая скорость.

Он остался один на совершенно пустой станции. «Уф-ф! Что ж это происходит? Среди бела дня деньги дают.... А я не беру.... И всё же, как я сюда попал? – размышлял он, разглядывая застывшие фигуры рабочих, колхозниц и красноармейцев с собаками, создающих неповторимый скульптурный ансамбль станции.² – Я точно помню, как сел в метро на „Октябрьской“ Кольцевой линии. Может, я по ошибке попал на радиус? Да, наверное.... Какой же я, всё-таки, рассеянный. Но подождите, Калужско-Рижский радиус не проходит через „Площадь Революции“. Ничего не понимаю. Дурдом какой-то».

Тут подошёл следующий поезд, остановился и раскрыл перед Женей двери пустого вагона. «И куда подевались все люди? В это время метро всегда переполнено. Неужели я столько проспал?! Да нет, не может быть... я ведь только присел, только задремал и...».

Над чёрной пастью тоннеля светящиеся электронные часы показывали четыре нуля.

«Полночь!? Мама родная, это я столько спал?! Не может быть,... я точно помню... я присел, закрыл глаза и «...следующая станция...». Не может быть...».

– Гражданин, вы ехать-то будете? Вас только и дожидаемся, – раздался из динамика противный женский голос. – Ну вааще прям, сами не знают, едут или не едут!

Женя послушно зашёл в вагон, двери закрылись, и поезд поехал, стуча колёсами о стыки рельс. Он не стал садиться, опасаясь снова заснуть, а, как зашёл в вагон, так и остался стоять, только развернулся лицом к двери. Резов наблюдал за проносящимся мимо мраком подземелья и переживал в памяти все события, навалившиеся на него сегодня. Состояние его можно понять, оно было ужасным. Столько всего уместилось в один день, на месяц хватило бы. Радостная эйфория предчувствия новой, интересной, полной открытий и побед жизни. Знакомство с новыми коллегами...

«Они хотя и немного странные, но вполне положительные, серьёзные люди. Совсем другое дело, этот изобретатель, как его, Пиндюрин вроде бы. Надо же, изобрёл машину времени – глупость какая-то. И ведь ему поверили! Как лихо он всех уболтал, даже испытание затеял. Машина времени – бред какой-то, это же антинаучно. Прав был профессор Нычкин. И Хенкса Марковна тоже права, надо было гнать этого изобретателя ко всем чертям».

В правом боку вдруг что-то запульсировало, и нехорошая такая волна пробежала по всему телу, засев где-то в голове тупой, едва ощутимой тревогой.

«Да. Испытание пресловутой машины времени с треском провалилось. Ничего же не произошло, да и не могло произойти. Хотя, с другой стороны, именно после этого испытания всё и началось – приступ профессора, тётя Клава какая-то странная, в метро творится что-то непонятное – чертовщина какая-то».

Снова запульсировало, завибрировало и пробежало по всему телу, застряв где-то в голове и усилив тревогу.

«Сам-то Пиндюрин пропал куда-то, исчез, испарился, как и не было его. Эх, хорошо бы найти этого „изобретателя“ да порасспросить хорошенько. Он смог бы, наверное, всё объяснить».

Проносющийся за стеклянной дверью вагона мрак как будто ещё больше сгустился, спрессовался в непроницаемую чёрную завесу, хотя давно уже должен был рассеяться, вспыхнув сиянием множества ламп вестибюля очередной станции. Поезд ехал уже минут десять-пятнадцать и не собирался останавливаться, а напротив, казалось, ещё усиливал ход. Вдруг в отражении от стеклянной двери, прямо за Жениной спиной появилась знакомая фигура в старой, выцветшей футболке и с круглой, как бильярдный шар головой. Она, не обращая никакого внимания на попутчика, увлечённо набирала указательным пальцем какой-то текст на мобильнике Nokia.

² Станция московского метро «Площадь революции» украшена скульптурным ансамблем, отражающим весь срез советского общества.

«Пиндюрин!? Откуда он здесь взялся? Ведь не было же никого», – пронеслось в голове у Жени, и он резко развернулся.

Возле противоположной двери никого не было. Вагон был пуст.

«Глюк...», – осторожно прокралась в сознание пугающая мысль.

– Эй, кто тут? – тихонько крикнул Женя, но ответа не последовало.

– Пиндюрин, вы здесь? Где вы? – пустое пространство вагона ответило всё убыстряющимся стуком колёс и завыванием встречного потока воздуха в вентиляционных воздуховодах.

Женя медленно, осторожно, пытаясь перехитрить пугливый глюк, снова отвернулся к зеркалу стекла, ожидая опять увидеть призрак. Но за его спиной отражалась только пустота.

«Точно мираж, этого мне только не хватало, – Резов отёр носовым платком со лба капельки холодного пота. – Совсем плохо. Переутомился, наверное, перенервничал. Всё, надо успокоиться, ни на что не обращать внимания. Сейчас будет „Курская“, бегом на вокзал, минут пятнадцать на электричке и дома – горячего чаю с мёдом, и в постель. Отдохну хорошенько, выплусь, а завтра всё будет хорошо. Всё будет хорошо.... Да ну его к чертям собачим, этого Пиндюрина с его Nokіей!».

В правом боку снова завибрировало, на этот раз с особенной силой, а по вагону пронеслась известная мелодия «Люди гибнут за металл». Женя достал из футляра свой мобильник и прочитал SMSky: «НОВЫЕ ИГРЫ, ПРИКОЛЫ, НЕВЕРОЯТНЫЕ УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ. ДЛЯ УЧАСТИЯ НАЖМИТЕ ЛЮБУЮ КЛАВИШУ НА ВАШЕМ ТЕЛЕФОНЕ».

– Блин! Достали своими идиотскими заклалками! Стоит только согласиться, без штанов оставят! – гневно выпалил Женя, стёр SMSky и отключил Nokію.

В тот же миг поезд стал тормозить. Натужно загудели тормоза, гася невероятную скорость, набранную в столь длительной гонке, и вскоре вагон вырвался из железных объятий мрака на простор ярко освещённой станции. «Ну, наконец-то», – вздохнул с облегчением Женя, когда состав уже останавливался. Двери с шумом раскрылись, и в вагон ввалилась плотная, тяжёлая как мельничный жернов, тягучая тишина. Ни одного звука, даже никаких шорохов, поскрипываний и попискиваний, ни вдоха, ни оха, ни одной живой души, как в огромном, ярко освещённом склепе. Только множество чёрных, лоснящихся на свету рабочих, колхозниц и красноармейцев с собаками смотрели на Женю, как живые. Состав снова стоял на «Площади Революции».

Так прошло несколько долгих секунд, а может, минут, часов, лет... Ничего не происходило, не менялось, не трогалось с места, не издавало звуков, не шелохнулось.

– Эй, гражданин, выходить-то будем, или будем стоять, как Ришелье на новые ворота? Вас только и дожидается-то, – громоподобно обрушился из динамиков прямо на Женю знакомый уже, противный женский голос. – Ну, вааще прям, сами не знают, выходят, или нет. Ну, чего вылупился на меня? Всё, приехали, конечная, освободите вагон немедленно!

Женя не понял, как вышел из поезда, как оказался на платформе, не слышал, как у него за спиной с грохотом закрылись двери.

VI. Сон в летнюю ночь

Самым-самым ранним предутренним часом, когда солнышко ещё не показало свой обжигающе яркий бок из-за линии горизонта, а огромная, в полнеба, круглая луна только-только засобиралась на дневной покой, на одной из чугунных, на редкость неудобных скамеек, что рядом расположились в сквере Гоголевского бульвара, мирно спал человек. Раскинув конечности так, что правая рука, бесчувственной сосиской свисая с импровизированного ложа, покоилась на асфальте, левая же нога, напротив, вольно и непринуждённо взгромоздилась на фигурную спинку скамейки, тело немолодого уже, но всё ещё не лишённого известной привлекательно-

сти мужчины, виртуозно похрапывало и сладко постанывало во сне. Нет, в нём нельзя было заподозрить бомжа или бездомного, а значит, лица без московской прописки и, скорее всего, без паспорта. Эти представители человеческого общества всячески стараются скрывать своё присутствие от сограждан. Тем более от глаз чересчур бдительных, постоянно побирающихся, как голодные бродячие псы, сотрудников московской милиции³. Данный же субъект, несколько не смущаясь своего не вполне адекватного положения, не позаботился даже прикрыть брненное тело от посторонних, не вполне сочувствующих глаз хотя бы вчерашней газеткой. Он сладко спал праведным сном младенца на литой чугунной скамейке прямо за спиной великого русского прозаика, памятник которому стоит и по сей день в самом начале одноимённого ему бульвара. И хотя легкая трёхдневная небритость, несвежая, выдавшая виды футболка, старые протёртые джинсы и растоптанные сандалии говорили о неказистости его теперешнего положения, благовоспитанность же и интеллигентность его спящего лица, а также умиротворённый, по-детски наивный храп выдавали в нём коренного москвича. Вы спросите, дескать, что, москвичи храпят как-то по-особенному? Конечно. Ещё как по-особенному. Москвич, ежели он добропорядочный, интеллигентный и ко всему прочему законопослушный храпит именно так. То есть умиротворённо и по-детски наивно. Ведь относительно сытому да устроенному ему не о чем волноваться и незачем скрывать своего глубокого удовлетворения жизнью. Так как он давно уж сроднился с тем обстоятельством, что думают, решают да и живут, в сущности, за него совсем другие граждане. Часто и не москвичи вовсе.

Не лишним будет отметить, что человеком этим оказался Алексей Михайлович Пиндюрин, упоминаемый в первых главах – изобретатель, ученик и продолжатель дела великого и бессмертного Герберта Уэллса. По крайней мере, так он сам себя представлял.

Накануне Алексей Михайлович, возбуждённый испытанием своей машины времени в бюро научно-технических разработок и изобретений «ЯЙЦА ФАБЕРЖЕ», а ещё более раздосадованный столь провальным финалом этого испытания, к тому же напуганный до крайности возможными, вполне предсказуемыми последствиями такого финала, постарался поскорее унести ноги с театра действий. Последнее ему удалось в высшей степени хорошо, настолько хорошо, что никто из соучастников описываемых выше событий не заметил его исчезновения. Более того, он и сам, как ни старался потом, не мог вспомнить подробностей своего скоропешного и беспорядочного отступления, а точнее сказать, стремительного бегства. Как личность он стал снова осознавать себя только некоторое время спустя, оказавшись неизвестно как на чугунной скамейке Гоголевского бульвара, весьма удалённого от места расположения конторы имени драгоценных яиц известного ювелира. «Вот ведь!» – только и сумел подумать Пиндюрин, на скорую руку собираясь с мыслями. А, собравшись и несколько успокоившись, добавил: «Оказия, однако!».

Алексей Михайлович, долго не раздумывая – подобные действия никогда не сопровождались у него никакими раздумьями, а уж тем более долгими – сбегал в ближайший гастроном за пивом и, вернувшись на скамейку, принялся гасить чрезмерное нервное напряжение излюбленным напитком. Вскорости душевный пожар был в большей степени потушен и Пиндюрин, обретя вновь доброе расположение духа, раскинул расслабленное тело горизонтально, удобно заложив руки за голову, а правую ногу вскинув на левую. И философически изрёк: «А судьи, собственно, кто?!»

Этот риторический вопрос был брошен в пространство, поскольку рядом никого не было, кроме огромного каменного Гоголя на массивном пьедестале. Но последний не мог принять его на свой счёт, потому как, во-первых, – памятник, а во-вторых, расположен спиной к вопрошавшему. Последнее обстоятельство само по себе могло бы быть расценено как высшая сте-

³ Роман был написан до 10-го марта 2011 года, когда в России вступил в действие закон о полиции.

пень невоспитанности, но, учитывая личность прозаика, упрекнуть великого писателя в слабости внутренней культуре ни в коем случае невозможно.

– Да! Кто судьи-то? – продолжал Пиндюрин философский диспут с самим собой, не забывая при этом отхлёбывать из горлышка пусть слабо..., но всё же ...алкогольный напиток. – А что, собственно, произошло? Никого не убил, ничего не украл, в прелюбодеянии замечен не был, не возжелал даже. Тьфу-тьфу-тьфу, прости Господи. Какое уж тут возжелание? Не к ночи будет сказано, эдакой глыбой только паровозы толкать... К тому же, усы у ней. И вообще, это ещё ничего не доказывает! А может, старушка вовсе не ту пимпу нажала,... А может и ту, и мы сейчас вообще в другом временном измерении...

Так рассуждал Алексей Михайлович, настолько увлечённый вопросом, что не замечал, как час за часом утекало безвозвратно время из его и без того не преисполненной благоразумия жизни. Между тем день, начавшийся так многообещающе, прошедший так бурно и эмоционально, клонился уже к ночи. Уж жаркое летнее солнышко спряталось за спины билдингов огромного мегаполиса. Пузатая, круглая, шершавая как апельсиновая корка рыжая луна взгромоздилась над Москвой, разбрасывая по всему небу, как сеятель семя, мириады колючих звёздочек. Город нехотя затихал, беря временную передышку перед ночной вакханалией. Уставшие от трудов праведных москвичи разбрелись уже по домам, а Пиндюрин, немного утомлённый и расслабленный пивом, продолжал всё ещё философскую беседу не то с собой, не то с каменным затылком Н.В.Гоголя.

– ... вот я и говорю, нет никакой уверенности, что баба та не нажала нужную пимпу и не отправила нас всех к едрени матери,... К примеру, в будущее,... Да разве это так сходу определишь? Нет, по внешней обстановке этого понять никак невозможно,... Вот ведь домина этот..., или, скажем, тот, сколько лет уж тут стоят? И сколько ещё простоят? А чё? Они при царизме ещё были построены и всех нас переживут, им же сносу нет... Вот я и говорю, так сходу данный парадокс разрешить не получится,... Или памятник этот... Ведь он же поставлен тут хрен знает когда и даже раньше, и ничего ему лет сто ещё не будет,... А чё ему сделается, не Ленин ведь? Как стоял себе, так и будет стоять при любой власти,... не пошевелится даже, хоть бутылкой пустой в него зашвырни...

И отяжелевший от пивного угара изобретатель, отправив в рот остатки пенного напитка, замахнулся, было, опорожнённым сосудом, целясь в каменного прозаика.

– Ну и понесло ж тебя, парень, – проговорил ему на это Николай Васильевич, поворачивая каменную голову в сторону Пиндюрина, и глядя через плечо грозным немигающим взглядом. – Куда ж несешься ты? Дай ответ.

Алексей Михайлович так и сел на скамейке от неожиданности, выпучив на ожившего классика выпрыгивающие из орбит глаза.

– Не даёт ответа, – сам себе ответил Гоголь и снова отвернулся.

Пиндюрин, не отрывая глаз от памятника, достал очередную бутылку, открыл её зубами и залпом отправил всё её содержимое в свою бездонную утробу. Николай Васильевич снова оглянулся, подмигнул одним глазом и повторил уже более мягко и миролюбиво.

– Не даёт ответа.

Изобретатель закрыл глаза и стал неистово тереть их кулаками обеих рук. Затем медленно и осторожно приоткрыл правый в едва заметную узенькую щёлочку – в сознание проник расплывчатый, бесформенный силуэт чего-то неопределённого. Он чуть увеличил просвет между веками – силуэт приобрёл более определённые очертания. Но что определяли они, понять было пока невозможно. Он ещё немного ослабил веки,... потом ещё... и вдруг резко раскрыл оба глаза.... Перед ним, на положенном месте возвышался каменной глыбой постамент. Николая Васильевича Гоголя на постаменте не было.

– Что же это за хрень такая?! – не то спросил, не то утвердительно произнёс сам себе Пиндюрин.

– А нечего в классиков пивными бутылками швыряться, – услышал он за своей спиной ответ на этот, в общем-то, несложный и не лишённый естественной логики вопрос.

Пиндюрин оглянулся. На холодной чугунной скамейке сквера, тускло освещённой рассеянным светом луны, едва пробивающейся сквозь наплывшее густое облако, он уже был не один.

– Вот я и говорю, нечего в классиков пивными бутылками швыряться, – довольно миролюбиво и вовсе без всякой строгости повторил неожиданный собеседник. – Посмотрите лучше, как чудно всё вокруг. Тихо. Тепло. Загадочный, призрачный свет красавицы луны. Какие фантастически плодотворные мысли посещают искушённый ум мечтателя в такую волшебную, сказочную ночь.

Незванный собеседник откинулся на спинку скамьи, положил правую ногу на левую, а руки, скрепив пальцы в замок, запрокинул за голову. Мечтательно глядя в ночное небо, он продолжил свой монолог, ни то сам в себе, ни то, обращая его на ошалевшего от неожиданности изобретателя.

– Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в неё. С середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся ещё необъятнее. Горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете; и чудный воздух и прохладнодушен, и полон неги, и движет океан благоуханий. Божественная ночь! Очаровательная ночь!

«Неужто САМ!?», – не вполне уверенно подумалось Пиндюрину.

– Весь ландшафт спит. А сверху всё дышит, всё дивно, всё торжественно. А на душе и необъятно, и чудно, и толпы серебряных видений стройно возникают в её глубине. Божественная ночь! Очаровательная ночь!⁴

«Точно! Гоголь!», – подумалось на сей раз утвердительно и окончательно, ... хотя и не бесповоротно.

Если бы Алексей Михайлович мог сейчас увидеть себя со стороны, то, несомненно, покраснел бы от смущения и скрывающейся в глубине души стыдливости. Он даже отвернулся бы, не выдержав зрелища. Потому что ничего более глупого, несуразного, чем теперешнее выражение его лица и положение тела вообразить себе никак нельзя. Однако его можно понять и отнестись к нему благосклонно, ведь с живым классиком его угораздило встретиться и пообщаться всего-то второй раз в жизни. А уж с каменным-то!!! Мысли его как-то сами собой связывались в хитрющий морской узел. А когда он старательно пытался распутать их, они разбегались в разные стороны и хоронились в самых потаённых уголках сознания, о наличии которых Пиндюрин не мог и подозревать. Но одну мыслишку ему всё-таки удалось ухватить за самый кончик юркого хвостика и вытащить её на пустующий ныне простор ничем не задействованного ума. А вытащив, развить её, насколько представлялось возможным в данной ситуации, и тем самым восстановить мыслительный процесс.

«Так значит, сработала эта хреновина, ... Старуха всё правильно нажала, ... Это же сам Гоголь!!! Настоящий!!! Живой!!! А я в таком случае получаюсь ... почти что гений!!! Это ж девятнадцатый век!!! Ух ты-ы-ы!!! Эка меня закудыкнуло ... Только, почему меня? Старуха ведь пимпу жмала ... Я же должен был остаться, а она, ... И мобила у неё ... Ё-ё-ё-ёкарный бабай!!! Как же теперь назад-то?!», – усиливал Алексей Михайлович умственную деятельность, но чем дальше, чем успешней развивался процесс, тем меньше ему это нравилось.

А прозаик в это самое время, не обращая никакого, или почти никакого внимания на изобретателя, продолжал восторженно воспевать украинскую ночь.

– Да что там говорить, даже ваш Пушкин Александр Сергеевич, помнится мне, писал: «Тиха украинская ночь. Прозрачно небо. Звёзды блещут. Своей дремоты превозмочь не хочет воздух. Чуть трепещут сребристых тополей листья ...».⁵ Ах, до чего ж красиво!

⁴ Н. В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки». Часть первая. «Майская ночь, или утопленница».

⁵ А. С. Пушкин «Полтава». Песнь вторая.

Ещё одна догадка вдруг обескуражила Пиндюрина, и он, трепеща от волнения и торжественности обстановки, задал, наконец, свой первый вопрос классику.

– Как это? Почему это?

– Что почему? – оторвался от лирической созерцательности собеседник и недоумённо вернул Алексею Михайловичу вопрос.

– Ну-у, вы сказали «ваш Пушкин». Как это? Почему «ваш»? Мы что, в Киеве?

– Да что вы, уважаемый, какой к Ироду Киев?

– К Ироду??? Ёксель-моксель, неужто ИзраИль???

– Москва, друг мой. Москва столица, моя Москва. Хотя Киев не стоит сбрасывать со счетов. Киев, знаете ли, очень интересный и подающий надежды пример. Вам стоит обратить на него должное внимание, приглядеться-таки попристальнее. Я уж не говорю про Иерусалим – колыбель русской религиозной мысли.

– Да? – только и ответил Пиндюрин, не понимающий, к чему клонит собеседник.

– Да! Да! Приглядитесь.

– А чё мне на него глядеть-то? – вдруг, сам того не ожидая, воодушевился Алексей Михайлович. – Киев, как Киев. Город конечно красивый, интересный, замечательный город. Отец городов русских. Вся Русь с него начиналась, это правда, и государственность наша и вера – всё с Киева пошло. Только...

– Вот всегда вы так. Вот все вы такие, – перебил неожиданно классик и как-то весь напрягся. – Даже говоря о столице иностранного государства, продолжаете иметь в виду свою любимую Россию. А почему собственно, спрошу я вас? На каком основании? Они между прочим дальше вас продвинулись по пути прогресса, гораздо дальше! Вглядитесь сами, будучи ещё недавно вековой провинцией империи, Украина всего за пару десятков лет поднялась-таки, повернулась лицом к выходу из мрака и теперь представляет в своей перспективе настоящее европейское государство. А вы? Так и топчетесь на одном месте. Да если бы хоть топтались, а то ведь деградируете – шаг вперёд, два назад. И не стыдно вам?

– А чего мне... нам... вам... Чего стыдиться-то? – ответил изобретатель, а про себя вдруг подумал: «Станный он какой-то этот Гоголь, и второй том „Мёртвых душ“ сжёт».

– А и правда, чего стыдиться? – продолжал прозаик, вальяжно раскинувшись на скамье. – Даром что вы сами сделать ничего не умеете, так и другим житья не даёте. Вашу одежду, к примеру, впору только экам на зоне носить...

– Неправда! У нас сейчас довольно прилично шьют... – перебил оскорблённый в лучших патриотических чувствах Пиндюрин.

– Ага, до первой стирки, хе-хе, – ухмыльнулся писатель, – То, из чего у вас шьют, на Западе используют разве что для покойников, без повторного применения. Хе-хе.... А машины ваши,... Эти ваши ГАЗики-ТАЗики... Их и автомобилями-то назвать нельзя, недо-разумение одно...

– К-к-какие т-тазики? – заикался ничего непонимающий путешественник во времени.

– Знамо какие, тольяттинские.

«Откуда он знает про Тольятти? – удивился про себя Алексей Михайлович. – Нет, это не девятнадцатый век... Старуха всё-таки видимо не ту пимпу нажала... Это ж не я туда, а Гоголь к нам сюда переместился...».

И чтобы проверить свою догадку вставил, не без гордости, провоцирующую фразу.

– Зато мы делаем ракеты!!!

– Ну, разве что это, хе-хе... – съязвил собеседник. – Да... что касается побряцать оружием, да для острастки замочить в сортире кого-нибудь, кто послабее, в этом вы по-прежнему впереди планеты всей. Почему же мышку кошка и пугает, и дразнит? Потому, собака спит. Ха-ха-ха! – и рассмеялся громким, залиvistым смехом. Но неожиданно посерьёзнел и добавил

строго. – Ну, это мы исправим, сократим. Как там у вас? Тополиный пух, жара, июнь,... Всё в пух и прах.

– Наши женщины самые красивые в мире! – патетически, и даже слегка привстав, заступился за Родину Пиндюрин.

– Ну, да, – согласился оппонент. – Только замуж нороят в зарубеж выскочить. А те, что остаются, к тридцати уже старухи – ни вида у них, ни желания, ни страсти. Кто у вас всю чёрную работу делает – шпалы кладёт, дороги ремонтирует, дома строит? Самые красивые в мире женщины. Ха-ха-ха! Или же в проститутки! Тоже достойный труд! Ха-ха-ха!

«Точно, никакой это не девятнадцатый век. А может и не Гоголь вовсе? Тогда кто? Чёрт, темень такая, не видать ни хрена», – Алексею Михайловичу стало вдруг не по себе, он жадно вглядывался в темноту, но кроме неясных очертаний человеческой фигуры ничего не мог рассмотреть. А незванный собеседник продолжал.

– И всё-то у вас через ж... у. Кто не работает – тот ест. И как ест! Хо-хо... Гаишник на дороге стоит – морда аж лоснится от жира, вот-вот треснет, ни одна шапка дальше темечка на неё не налазит. С чего он так отъелся-то? Что он делает полезного? Мзду за проезд по своей территории собирает, да липовые протоколы пишет тому, кто больше даст? Ха-ха... Чиновничко, ме-е-е-елкий такой, козявочка, букашка бесполезная, бумажки с места на место тасует и на подпись носит. Ты глянь, на чём он каждый день в должность ездит! Это при его-то зарплате! Да ему за всю жизнь и на оплётку для руля от такой тачки не заработать. Откуда такая роскошь? Наследство? Хе-хе.... Это цена нужной бумажки, вовремя поднесённой под нужную подпись. А кто определяет нужность бумажки? Опять же тот, кто больше даст. Хе-хе.... Да и тот, кто подпись ставит, не в накладе – на его морду вообще не пошить шапку, нет таких размеров. Ха-ха.... Утром вся Москва стоит в пробках. Что стряслось? Пожар в Центре? Может, теракт? Хи-хи.... Какой там?! Это слуги народа по козлиной тропе⁶ на работу катят и над народом этим посмеиваются. Хо-хо.... Да теперь уж и не посмеиваются вовсе, просто не видят, как грязь, как мусор, который вовремя убрали, чтоб не мешал. А вы все – Великий Русский народ то есть, как вы себя сами любите величать. Ха-ха-ха... Великий... Да вы просто быдло! Втемяшили вам, что эти жиробесы о вас как бы заботятся, служат, а на самом деле, имеют каждого в розницу и всех вместе оптом в те места, которыми вы так дорожите и бережёте от пресловутых внешних врагов. А нравится это вам или нет, не имеет никакого значения, потому что вы никто, и звать вас никак. Одно слово – быдло. Ха-ха-ха! – и он снова захохотал.

А Алексею Михайловичу почему-то почудились в этом хохоте отдалённые раскаты грома, со всех фронтов обступающей Москву грозы. Бури, урагана настолько гневного и страшного, что не было никаких возможностей скрыться от него среди ночи на чугунной скамейке Гоголевского бульвара.

«Эка его понесло-то.... Никакой это не Гоголь. Разве ж классики такие?... Кто ж он такой? Чего прилип? Чего ему от меня надо?», – размышлял изобретатель, а вслух почему-то спросил.

– Ты часом не коммунист? И не спится тебе?

Тот перестал смеяться, склонив набок голову, как-то искоса посмотрел на Пиндюрина и заговорил тихо, даже вкрадчиво.

– Я вообще не сплю. Никогда не сплю. Я пашу день и ночь как лошадь, как проклятый, как святой Франциск мотыжу свой участок... и никакой благодарности.

⁶ ...по козлиной тропе – народное название Рублёвки – Рублёво-Успенского шоссе в Подмоскowie, вдоль которого расположены загородные дома высшего российского чиновничества, и по которому эти чиновники ежедневно колесят на службу народу.

Небывалая, невообразимо плотная тишина покрыла вдруг Гоголевский бульвар, расплылась вязким парафином по всей Москве, растеклась аморфным, дрожащим желе по необъятным просторам России. Или это только показалось Пиндюрину?

– Не коммунисты мы, – звуки голоса странного собеседника как-то особенно ясно проявились в ночном безмолвии московского воздуха, разноцветными шариками влетая в сознание и лопааясь там оглушительно и звонко, – и не демократы, не националисты и не мультикультуристы. Мы не с красными и не с голубыми, не с коричневыми и не с зелёными. Нам ни налево, ни направо. Нам на запад... туда, где садится солнце. Оттуда и приходим. Хе-хе....

Огромное плотное облако подвинулось, наконец, освободив краешек большой, шершавой луны. Серебряный лучик ещё слабенький и робкий, играя, осветил слегка скамейку сквера и двух сидящих на ней собеседников. Алексей Михайлович впоследствии клялся и божился, ибо ему не верили. Да и кто ж в такое поверит? Но он явственно увидел перед собой маленькую, сморщенную от долгих-долгих лет нескончаемой жизни мордочку с пороссячим пятачком вместо носа.

Холодная волна пробежала по всему телу от макушки до самых пяток, душа съёжилась в маленький комочек и провалилась куда-то вниз, глубоко-глубоко. Так бывает, когда в крошечной ночной темноте давно уж необитаемого дома, в котором случайно остановился на вынужденный ночлег, увидел либо услышал вдруг спросонья нечто непонятное, необъяснимое и оттого страшное. Пиндюрин зажмурился, прогоняя наваждение, губы как-то сами собой, непроизвольно произнесли: «Свят, Свят, Свят, Господи, помилуй мя грешного!», – а правая рука тоже самопроизвольно очертила в воздухе крестное знамение.

Когда он открыл глаза, полная луна, окончательно освободившись, наконец, от назойливого облака, освещала скамейку ярким серебристым светом. Наваждение схлынуло, перед изобретателем сидел не сказать чтобы молодой, но и не пожилой ещё человек с тщательно прилизанными на пробор жиденькими волосиками цвета свежей соломы, одетый в старенькую заношенную тройку и в пенсне без стёкол на носу. Отчего-то (Алексей Михайлович, хоть убей, не понимал отчего) в мозгу горе-изобретателя вдруг всплыло страшное и недвусмысленное предостережение: «МЫ БУДЕМ ИХ МОЧИТЬ В СОРТИРАХ!». Всплыло и прилипло к корочке навязчивым баннным листиком. Человечек достал из внутреннего кармана пиджака древнюю, выдавшую виды ермолку, тщательно расправил её, не оставляя ни одной складочки, и приветливо улыбнулся во все зубы. У Пиндюрина заискрилось в глазах, а по ветвям деревьев, пузатым урнам, чугунным скамейкам сквера побежали во все стороны, как напуганные тараканы, яркие лунные зайчики.

VII. Что есть Добро?

– Профессор? Вы? Вы здесь? – Алексей Михайлович был искренне удивлён появлению начальника отдела изобретений в столь поздний час на скамейке сквера Гоголевского бульвара (в том, что это был Нычкин, сомнений почему-то не оказалось). Да ещё и после того как всего несколько секунд назад на этом же самом месте ему примерещился (привидится же такое) чёрт. – Я... я никак не ожидал,... значит,... значит, эксперимент всё-таки не удался?

– Я-то здесь, – лицо, которое Пиндюрин при обманчивом лунном свете принял за давешнего профессора, проигнорировало вопрос относительно эксперимента. – Я таки давно здесь. Вы и представить себе не можете, молодой человек, насколько это уже давно. А вот вы меня, признаюсь, таки удивили.

– Я? Как же это я...? Я никак... – в ожидании выговора за проваленное испытание машины времени залепетал Пиндюрин. – Чем же я... это... ну, того... ну, смог, значит?

– Удивили. Удивили. Да-а-с, – профессор задумался на мгновение и, неожиданно подавшись вперёд, заложил большой палец левой руки за жилетку тройки, а правую, развернув

ладонь, направил на Алексея Михайловича. – Ведь вы же не веующий, – при этом буква «ЭР» у него куда-то сама собой потерялась.

Был ли это вопрос, или утверждение, или приглашение к разговору на заданную тему, Пиндюрин не понял, но на всякий случай попытался ответить как можно уклончивее.

– Я? Да... Вернее, нет... Вернее... Я не знаю. Я верю, конечно, но не так чтобы очень.

– Я так-таки и предполагал, батенька, так и предполагал. Я всегда говоил, милейший – «Кто не с нами, тот пьёт нас». И вы тому яйчайший пьемей.

Профессор снова откинулся на спинку скамейки, поднял глаза к небу на сияющую луну, и многозначительно замолчал.

Молчал и Пиндюрин. А что он мог сказать? Что вообще он мог предпринять в создавшейся ситуации, кроме того, чтобы предложить многоликому собеседнику бутылочку пивка (честно говоря, он всегда поступал так в затруднительных обстоятельствах) и самое главное, предложить вторую себе самому. Рука уж было потянулась к пузатой сумке под скамейкой, но вдруг сама собой одёрнулась, так как в оглушительной тишине Гоголевского бульвара как-то неожиданно для Алексея Михайловича встал вдруг вопрос.

– Вот такие вы все, – несколько философично и слегка отстранённо звучал вопрос. – И с чего бы уж, в самом деле? И откуда в вас это?

– Что, это? Какие мы все? – не понял Пиндюрин.

– Казак один, ох и лихой был человек, – продолжал профессор, не обращая внимания на вопрос. – В хмельном разгуле равных себе не знал. И ведь, сколько б ни выпил – не берёт его, не пьянеет и всё тут, только злее становится. Лютости, значит, в нём хмель прибавляет. И была у него мера такая, как через хмель в ту меру лютости войдёт, тут только держись – ни друга, ни брата не признаёт, ни старика, ни девку не милует, всяк беги врзлёт, чтоб на глаза ему не попасться. А и силён же был бродяга, что твой медведь, да что там, и медведя заламывал. И ловок – с саблей казачьей один против десятерых выходил победителем. Выбрали его атаманом, чином пожаловали да буркой от самого царя, так чтобы при должности дурь в узде держал да на внешних врагов всю выливал. Да куда там? Тесно ему в бурке атаманской да в узде царской. Смуту учинил. Нашлись и побратальнички, коим воля вольная милее дЕвицы. Ох, и натешились же они тогда, ох и нагулялись же, столько кровушки человеческой пролили и правой, и виноватой, что ежели кровь ту всю в одном месте слить, море получится. Вот такой был казак.

Алексей Михайлович слушал, не перебивая, пытаясь уловить суть и смысл повествования. Ведь зачем-нибудь начат был рассказ этот. Значит, имеет он отношение к давешнему разговору. Иначе с чего бы? Только смысл тот никак не шёл на затуманенный пивом ум Пиндюрина. Не мог никак поймать он его за хвост, хоть и чувствовал, что рядом где-то ходит разгадка, ходит и посмеивается над горе-изобретателем.

– А как изловили казака того, осудили на казнь лютую, возвели на эшафот, он бух на коленки и давай лоб крестить. Глаза в небо смотрят, не моргая, а из глаз слёзы горячие, аж пар от них, как из бани. Я там оказался тогда – подхожу, интересуюсь. Потому как, в самом деле, интересно – чего это он вдруг? На что надеется-то? Неужто и впрямь думает, помилуют, простят, купившись на раскаяние? А он мне одними губами, не переставая молиться: «Отыди от меня, не твой ныне день. Потому как, может, я впервые Любовь и Милость Божью узрел». Так и отдал Богу душу, молясь.

Профессор неожиданно встрепенулся, приблизился к собеседнику глаза к глазам и хитро так, ехидненько улыбнулся. Пиндюрину вновь почудилось, что вместо носа на его лице возникло вдруг холодное и влажное поросячье рыльце. Но это продолжалось всего только миг, даже меньше мига.

– Как думаете, милейший, пъястил-таки Бог того казака?

– Конечно, простил! А как же! – не раздумывая, ответил изобретатель.

– А цая того, что казака лютой казни, мукам нечеловеческим пьедал? Да и многое множество дьюгих людей казнил на Москве лет с десяток подъяд, тоже-таки пъястил?

– Простил, – на сей раз, несколько подумав, твёрдо ответил Пиндюрин.

– Вижу, и правда, так думаешь, – перестав улыбаться, сказал профессор, пристально глядя в глаза изобретателю. – Вот все вы такие. Вот в этом вся вера ваша... и весь Бог ваш.

– А ваш, профессор, разве не такой? Разве у вас другой Бог? – Алексей Михайлович с трудом выдерживал столь пристальный взгляд. Ему казалось, что он пронзает его насквозь, до самого низменного дна его исковерканной жизнью души, до которого и сам Пиндюрин боялся опускаться. Чёрт знает, что там таится. Но лучше не тронь. Не замай. Всплывёт. И как же неприятно, до мурашек скверно и неудобно, когда там копается чужой, малознакомый, совсем посторонний холодный и приставучий взгляд.

Но уже через мгновение рядом с горе-изобретателем на чугунной скамье сквера Гоголевского бульвара снова сидел хитро улыбающийся, поминутно хихикающий, совершенно безобидный человек в старой поношенной тройке и в ермолке на прилизанной соломенной голове. Он потёр руки, хихикнул в кулачок, зачем-то произнёс: «Так-с», – опасливо косясь на Пиндюрина, достал из внутреннего кармана пиджака фляжечку, налил в крышечку-рюмочку на пару глотков пахучего коньячку и, выпив, повторил все эти действия в обратной последовательности. При этом лицо его выражало необычайное смущение, и, как бы извиняясь, говорил: «Простите, что не предлагаю угоститься. Последние капельки, знаете ли, с напёрсточек всего и осталось-то».

– А какой Он, по-твоему, Бог? – спросил умиротворённый коньяком профессор.

– Добрый, – подумав, ответил Алексей Михайлович, и поразмыслив ещё, добавил, – Он всех нас любит.

– И тебя?

– Меня?

– Да, да тебя. Лично тебя.

– Не знаю, – на этот раз Пиндюрин подумал подольше и повнимательней. – Вообще-то не за что меня... скверный я... Но всё-таки..., я думаю..., и меня любит.

– Хи-хи.... Скверного-то?

– Да. Скверного. Любит и... хм... переживает что ли,... сожалеет, что я такой скверный,... А всё ж-таки любит.

– И Добрый?

– Кто?

– Бог. Хи-хи...

– Да, – твёрдо и уверенно ответил Пиндюрин. – Очень Добрый. Иначе... ну, как же тогда меня такого скверного любить? Ведь это и помыслить невозможно.

– А что есть, по-твоему, Добро?

На этот раз Алексей Михайлович задумался надолго.

– Вот это, по-твоему, тоже Добро?

– Что? – не понял изобретатель. – Что ЭТО?

– Негоже, человеке, негоже, – послышалось из-за спины размышляющего о смысле Добра изобретателя. Оттуда, где ещё недавно долгие-долгие годы, невзирая на снег и ветер, зной и стужу, стоял каменный прозаик, певец украинской ночи Николай Васильевич Гоголь.

Заторможенный пивом Пиндюрин как-то нехотя, будто опасаясь чего-то, поднял взгляд на собеседника и прочитал в хитро сощуренных глазках не то вопрос, не то предложение, не то откровенную издёвку. Очередное плотное облако снова накатило на преисполненную сияния полную луну, напуская на Гоголевский бульвар ночной Москвы быстро сгущающуюся тень. Лицо собеседника вздрогнуло, словно от набежавшей холодной судороги. А горе-изобретателю опять почудилось в сжимающемся мраке, будто образ ночного профессора как-то сам

собой трансформируется в сморщенное от бесконечно долгих лет жизни рыльце с поросычьим пяточком посередине. Облако окончательно наехало на луну, покрывая необъяснимую и пугающую трансформацию мягкой ретушью обволакивающего мир мрака. Всё замерло в беззвучной колыбели не по-украински, и уж тем более, не по-московски тихой ночи.

– Ну что молчишь, человеке? Никак совсем уж ословел от хмеля-то? – снова слышалось из-за спины, возвращая Пиндюрина к реальности.

То, что увидел Алексей Михайлович, оглянувшись на голос, никак не входило в его планы на остаток этой ночи. Неподалёку от торца скамейки, как раз между ней и постаментом каменного Гоголя, играя причудливыми бликами ночных уличных фонарей на тяжёлом массивном наперсном кресте, стоял огромный толстый батюшка, теребя левой рукой жемчужные чётки, а десницей опираясь на груди всё тот же наперсный крест.

– Ну что ты, сердешный, так напрягся-то весь? Негоже столько хмеля в одну глотку вливать, да ещё в присутственном месте. Грех то. Хмель, сын мой, он компанию любит, да беседу душеспасительную. Небось, негде главу приклонить? Пойдём со мной, странник, уж я тебя пристрою, и словом полезным одарю, и спать уложу, и на сон грядущий «Отче Наш» над тобой горемычным пропою. Пойдём, не бойсь.

– Так я... мы тут..., – только и смог промычать оторопевший Пиндюрин. А что он мог ещё сказать? Вы что бы сказали на его месте?

– Кто это мы? Государь и Великий князь всея Руси? Хе-хе-хе, – по-доброму так засмеялся в густую, правильной формы бороду батюшка. – Пойдём, пойдём, тут недалече. Да не бойсь ты, горемыко, чай не в вытрезвиловку зову, а в обитель Божью. Да не в какую-нибудь, а в самую что ни есть главную на всю Россию-матушку. Во, честь какая тебе. Ну, вставай. Пошли уж.

– Не... мы тут... это...

Алексей Михайлович повернулся всем телом к профессору, ища поддержки и заступничества последнего. Как-никак всё-таки авторитет и весьма уважаемый, почтенный человек. Где ж его ещё искать-то, как ни у того, с кем только что обсуждал красоту и прелесть украинской ночи, рассуждал о Боге, Любви и Добре? Но нечаянного собеседника на чугунной скамейке Гоголевского бульвара рядом с незадачливым изобретателем и любителем пива уже не было. Как вовсе не было.

– Как же это... мы ж тут... это... и вот те на... – пробурчал в своё оправдание Пиндюрин, озираясь, то на справедливого и логичного во всех отношениях батюшку, то на пустое место, где ещё минуту назад пребывал не то профессор, не то, не к ночи будет сказано, сам лукавый.

Наконец, видимо отчаявшись получить поддержку хоть откуда-нибудь, но явно не желая провести остаток ночи с попом, поющим «Отче Наш», Алексей Михайлович, всем видом желая показать свою лояльность церкви, веротерпимость и абсолютную неопасность для общества, забрался с ногами на чугунную скамейку, заложил под давно не бритую щёку сложенные конвертиком ладошки и, пробурчав почти невнятно: «Теперь всё будет хорошо...», – мирно захрапел.

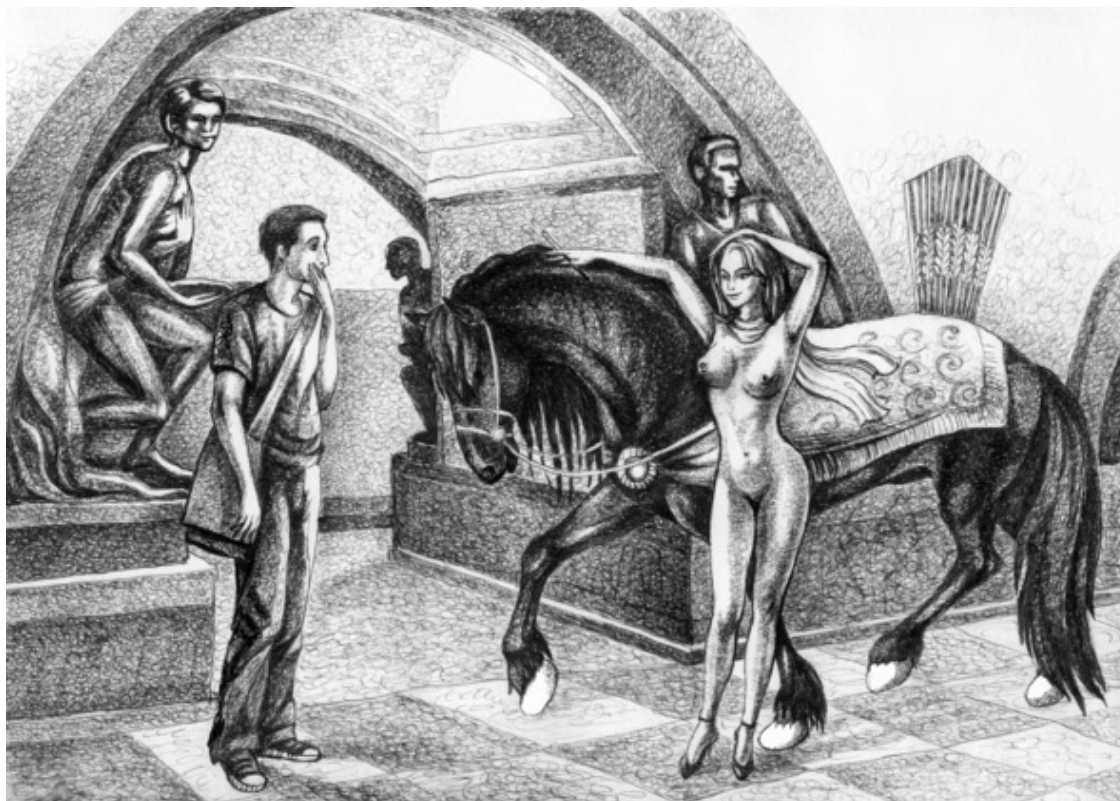
Последнее, что он уловил в этот самый-самый ранний предутренний час, когда солнышко ещё не показало свой обжигающе яркий бок из-за линии горизонта, а огромная, в полнеба, круглая луна только-только засобиралась на дневной покой...

Последнее, что он ещё охватил тонущим в неге сна сознанием, были железные объятия по-отечески заботливого священнослужителя, который стрёб в охапку засыпающего изобретателя, приподнял его как пушинку над остывающей в предутренней прохладе землёй и, водрузив практически бездыханное тело на плечо, отволоч его в припаркованный неподалёку джип. Дальнейший свой маршрут Пиндюрин уже не ведал. Но напоследок самым крохотным уголком ускользающего уже сознания попрощался со всеми родными, друзьями, знакомыми и, предав свою бессмертную душу на волю Любящего и Доброго Боженьки, отключился.

VIII. Лабиринт

Из оцепенения Женю Резова вывели звуки, взорвавшие мёртвую тишину станции, как покой сладкого предрассветного сна взрывает грохочущий рокот будильника. От неожиданности он даже не сразу сообразил, что это было. Так стучат большие напольные часы в огромной пустой комнате. Или же капли воды, с упрямой периодичностью срываясь с потолка гигантского сырого подземелья и разбиваясь в мелкие брызги о каменный пол, разносят усиливающееся многократным отражением от стен нечто похожее. Так, наконец, цокают о мраморный подиум тонкие, изящные каблучки-шпильки на стройных, лёгких ножках манекенщицы, дефилирующей по этому подиуму.

Звуки усиливались, приближаясь. Женя, снедаемый любопытством и в то же время удерживаемый страхом, осторожно, стараясь двигаться как можно тише, подался вперёд от края платформы внутрь вестибюля. То, что предстало его взору, поразило сознание ещё больше, чем всё увиденное и услышанное до сих пор. Вернее, даже не поразило, это было совсем другое чувство, более сильное, более острое, сногшибательное. Он не смог бы дать ему определение, потому что не только никогда в жизни не видел ничего подобного, но и никак не мог предположить встретить ЭТО сейчас, здесь, в метро. Резов буквально ошеломлен от неожиданности. Наверное, он был похож в данную минуту на одно из бронзовых изваяний, рядом расположенных вдоль всего вестибюля станции. Скорее всего, на советскую интеллигенцию, напуганную и обескураженную подавляющим и нахрапистым присутствием не имеющего что терять гегемона-пролетариата. А также безземельного и оттого запившего до одури колхозного крестьянства и стерегущей их в рамках классовых интересов народной Красной армии, вооружённой до зубов собаками и винтовками. Женя меньше бы удивился, если бы узрел невероятную саму по себе сцену мило прогуливающихся по ночному метро профессора Нычкина в обнимку с Хенксой Марковной, нежно воркующих, как два невинных голубка. Он бы даже обрадовался, повстречав среди всех непонятностей этой ночи знакомые лица. Но действительность оказалась куда более фантастичной.



По мраморному полу вестибюля от эскалатора по направлению к Жене шла молодая..., нет, очень молодая и очень красивая..., опять не то, безумно красивая и неестественно молодая женщина в элегантных туфельках на высоких тоненьких каблучках, издающих те самые звуки, которые и привлекли его внимание. По правую руку от неё, гордо вскинув голову, гарцевал статный вороной жеребец в расшитой золотом попоне и мягких, пушистых белых тапочках, заглушающих стук копыт о полированный мрамор. Но не удивительная, просто-таки сказочная красота неожиданной гостьи так поразила Резова, хотя сама по себе такая женщина способна с первого взгляда сразить наповал любого, даже самого закоренелого ловеласа. Не вороной как смоль жеребец заставил его окаменеть и обратиться в живую статую, хотя, согласитесь, конь в метро, да ещё в тапочках – это чересчур. Всё дело в том – и это действительно ни в какие ворота не лезет, – что кроме упомянутых уже туфелек на женщине был ещё невесомый, почти прозрачный белый шарфик, кокетливо обнимающий её грациозную шейку и развевающийся за её спиной мягкими волнами. И больше ничего. То есть, абсолютно ни-че-го. И если не считать дымящейся сигареты на конце длинного мундштука между средним и указательным пальчиками правой ручки, то можно сказать, что она прохаживалась по метро почти совсем нагая. Ну, как тут не потерять дар речи? Тем более что видом обнажённого женского тела, пусть даже самого обыкновенного, не звёздного, не особо гламурного, Женя не был избалован. Он даже в кино застенчиво краснел, опуская глаза задолго до появления на экране нескромно открытых сцен. Не то что бы наш молодой специалист был столь застенчив. Не без того, конечно, но это только следствие, а причина в другом. И вот в чём.

С раннего детства и на всю жизнь Жене Резову было присуще какое-то странное и неестественное сегодня, врождённое чувство неприятия всего того, что с самых древних времён человечество называет грехом. Причём особенность эта не была привита строгим воспитанием, или некоей уникальной аскетической атмосферой, окружавшей и наполнявшей собой всё его детство, отрочество и юность. Нет, и первое, и второе были самыми обыкновенными, как у всех детей самых обыкновенных родителей. Это было именно врождённое, генетическое чувство,

унаследованное, видимо, молодым Резовым от далёких, необезьянних предков. Ну, таким он родился. К счастью ли? К несчастью ли? А Бог его знает, к чему.

Женя рос послушным, совестливым мальчиком – никогда не перечил родителям и старшим, никто не слышал от него не только откровенно грубых, или, упаси Боже, нецензурных слов, но даже и просто бранных. Он никогда не брал чужого, даже того, которое плохо лежит – при нём всё лежало хорошо. Возвращаясь из магазина, всегда отдавал маме сдачу всю до последней копейки, не оставляя себе даже на мороженое и лимонад. Достигнув юношеского возраста, он так и не пристрастился к курению, как многие его однокашники-мальчики и даже некоторые из девочек. Алкоголь же впервые попробовал только на выпускном школьном балу, и то чисто символически. Что же касается женского пола, то Женя его как будто не замечал. То есть, не то чтобы не замечал вовсе, заносчиво игнорируя прекрасную половину человечества, но как бы не понимал, не осознавал всю отличность, неодинаковость внешнего устройства девочек и мальчиков. Похоже он вообще не чувствовал, не ощущал всей той магнетической притягательности некоторых особенностей девичьей конструкции, что сводила с ума и подвигала на лёгкие безрассудства его приятелей-сверстников. Он обходился с девушками ровно, так же как и с юношами, ничем, казалось, не выделяя различия гендерных признаков. Надо заметить, что юный Резов по своей физиологии был нормальным молодым человеком, и мужские гормоны в нём играли не менее, а может и более чем у многих его однокашников. Но они никогда не могли взять верх над рассудком, а значит, и над поступками нашего героя. А округлости и выпуклости молодых девичьих тел под не особо целомудренной одеждой сверстниц, те самые, что так притягивают к себе похотливый взгляд и производят бурление в крови, как-то не встали во главе угла жизненных приоритетов Жени. Как не старались, они не заслонили собой образ внутренней красоты и духовной близости той, одной единственной, которая на всю жизнь, коей не пресытишься до самой смерти, не смотря ни на какие перипетии жизни. И не беда, что носительница этого образа покуда не повстречалась ещё на его недлинном пока пути. Ведь повстречается же. Обязательно. А как же иначе?

В это Резов верил свято и ждал. Терпеливо ждал той единственной, уникальной половинки своего пока ещё неполноценного «Я», которая преисполнит его собою, любовно обживёт пустующее до времени место в области сердца, занимаемое некогда плоть от плоти ребром ветхого Адама и отъятого мудрым замыслом Творца. Надобно так же отметить, что Женя никогда не входил в конфликт и даже не искал компромиссов со своей совестью. Поэтому не делал ничего такого, что вызывало бы в нём чувство неловкости, стыдливости, что называется, душа не на месте, о чём впоследствии пришлось бы сожалеть. Эта его особенность немало огорчала многих, очень многих представительниц прекрасного пола, которые старались, но никак не могли подобрать ключик к Резовскому сердцу. А обладатель этого сердца был не только весьма умным и начитанным молодым человеком, но и очень даже привлекательным, если не сказать красивым мужчиной. Область души Жени, отвечающая за любовь, оставалась пока незадействованной, а разменивать её чистоту на игру гормонов он не хотел. Поэтому был со всеми девушками ровно вежливым и приветливым, одинаково дружелюбным, открытым, искренним товарищем. Хотя то, что он никого не выделял и не подпускал достаточно близко не только к своему сердцу, но и к своему телу, не могло не расстраивать представительниц прекрасного пола, среди которых попадались очень даже интересные и перспективные кандидатуры.

Сейчас же Резов оказался один на один, можно сказать, нос к носу с обнажённой натурой. Причём не где-нибудь в бане, случайно перепутав двери мужского и женского отделений, что при его рассеянности было бы объяснимо, а на центральной станции московского метро, в месте не совсем приспособленном для подобного рода встреч. Да ещё вдобавок конь. ... К тому же эта самая натура вела себя абсолютно свободно, ничуть не смущаясь своей наготы, но вальяжно и уверенно, даже с достоинством, как королева в шикарном платье на приёме

иностранных гостей. Может, она не знает, что на ней ничего нет, как в старой детской сказке о голом короле? Но тот король-то был абсолютно голый, тут вся соль, вся, так сказать, изюминка сказки. А на этой, простите, королеве хоть какие-то предметы одежды всё-таки присутствовали. И что ещё важно, она не обращала на Женю никакого внимания, просто ни-ка-кого, как будто его тут вообще не было. Резов же, напротив, как ни старался, не мог оторвать от неё взгляд. Он был, как будто заколдованный, вернее сказать, зачарованный. Хотел, силился отвернуться, отойти, спрятаться за колонну, вообще покинуть эту станцию, провалиться сквозь землю наконец, и не мог пошевелиться. Она как магнитом притягивала его, лишая силы, воли, а он стоял, как вкопанный и в упор смотрел на неё.

Женщина уже продефилировала перед самым его носом мимо, как вдруг остановилась, резко развернулась и направилась быстрыми уверенными шагами прямо на Женю. А подойдя вплотную, пристально посмотрела в его глаза, затем обошла вокруг, внимательно разглядывая со всех сторон, как экспонат, словно оценивая. Будто голый был он, а не она.

– Ну, вот мы и встретились. Долго же ты заставляешь себя ждать, – произнесла она бархатным, хотя и несколько грубоватым голосом, встав перед ним настолько близко, что Женя всей своей кожей ощутил её горячее дыхание. Запах, исходящий от неё, дурманил и опьянял, пробуждая и возбуждая все самые низменные инстинкты, издревле унаследованные от далёких животных предков. Так что не было никаких сил противостоять им.

– Что, я всё ещё хороша? Теперь-то ты хочешь меня? – от этих слов, сказанных полушёпотом, настолько тихо, что не понятно было, вопрос это или утверждение, обжигающий жар как от раскалённых углей горячей волной пробежал по всему резовскому телу, бросая в пот и в озноб одновременно. Её рука коснулась его щеки, скользнула по шее и замерла на груди. А губы, покрытые толстым слоем ярко-красной помады, выпустили прямо в лицо струю едкого табачного дыма.

Резов не переносил табака, и только это помогло ему очнуться от наваждения. Он отступил на шаг и, проговорив растерянно: «Простите, мы не знакомы... вы ошиблись, наверное..., я лучше пойду...», – быстрыми шагами побежал прочь от нахальной блудницы к спасительному эскалатору, над которым светился указатель «ВЫХОД В ГОРОД». За его спиной раздался пронзительный, усиленный многократным эхом, разнужданный хохот. Женя заскочил на самодвижущиеся ступеньки и, перескакивая через две, помчался наверх, стараясь как можно быстрее укрыться от преследовавшего его смеха, к тому же ещё усиленного конским ржанием.

Он бежал довольно долго, пока окончательно не выбился из сил и почти без чувств упал на ступеньку бесконечно длинного эскалатора, чтобы отдышаться и привести в порядок нервы.

– Дурррак! Как есть дурррак! – услышал он за спиной противный каркающий голос.

Женя оглянулся. На пять-шесть ступенек выше он увидел новое «чудо», заставившее его задуматься о том, что приключения ещё не кончились, всё только начинается. Прямо на лестнице, закинув лапку на лапку и жадно поглощая банан, сидела неестественных размеров – приблизительно со взрослую овчарку – чёрная с проседью ворона в красной форменной фуражке на голове.

– Дурррак! – повторила птица, обращаясь именно к нему, к Жене. – Упустил счастье-то! Такие бабы себя не пррредлагают, напррротив, их добиваются, часто ценой жизни! А если и пррредлагают, то один только ррраз! Упустил! Как есть дурррак!

Ворона доела банан и, бросив кожуру Резову в лицо, встала на лапки, поправила клювом примявшиеся от сиденья пёрышки и, расправив огромные крылья, полетела над жениной головой вниз, на станцию, где всё ещё хохотала нагая блудница. А Женя, снова онемевший и парализованный, так и продолжал сидеть на ступеньке бесконечно длинного эскалатора, уносящего его прочь с «Площади Революции» куда-то наверх, навстречу чему-то, чего он ещё не знал.

Хохот внизу наконец-то стих, растворившись в пространстве. Да и сама станция, от которой Женя медленно удалялся, давно уже превратилась в крохотную точку, в которую как

лучи сходились все линии нескончаемого тоннеля. «Странно, – подумалось вдруг ему. – Какая глубокая станция, никогда раньше не замечал этого. Я уже поднялся метров... метров, наверное, на сто, не меньше, а впереди ещё...». Он встал со ступеньки, повернулся лицом по направлению движения и увидел впереди, вверху такую же точно крохотную точку. «Какой длинный тоннель. Я уже давно должен был подняться на поверхность. А сейчас, судя по всему, нахожусь где-нибудь... над Москвой... и если, дай Бог, поднимусь до конца, то наверняка окажусь, не иначе как... на небесах... Ух ты!». Эта безумная мысль произвела на Женю весьма необычайное, можно сказать, романтическое впечатление. Он живо представил себе белое, мягкое как пух покрывало облаков, бесконечный, куда не глянь, синий купол неба над головой, осанистый, с длинной седой бородой апостол Пётр, встречающий его у порога безвременной небесной юдоли праведников... «Праведников? Да разве ж я праведник...? Господи, помилуй, что же это такое происходит?».

– Да уж, не праведник, это точно, – услышал Женя голос за спиной. – Да и не всякий тоннель, идущий наверх, ведёт к Богу. Бывает и наоборот. И часто бывает.

Резов оглянулся. Рядом с ним, на пару ступенек ниже стоял древний, весь в белом, совершенно седой старик с большим, почти в его рост посохом, удивительно похожий на былинного старца из фильмов-сказок режиссёра Роу. Сказок достопамятных и любимых ещё с тех давних времён, когда деревья были большими, мама молодая и красивая, а сказки правдивые и уму да сердцу полезные.

– Как... это? – несколько невпопад спросил Резов, имея в виду не то тоннель, который наверх, не то старика этого, неизвестно как тут оказавшегося.

– Да очень даже просто, – отвечал старик, будто ожидавший такого вопроса. – Так же, как и не всякая дорога ведёт вперёд. Всё от направления зависит, а то ведь бывает и назад.

– Да? – немного обалдевший Женя никак не мог собраться с мыслями и понять, наконец, откуда, куда и зачем всё это сегодня. И почему именно с ним?

– Да! А то ещё бывает, и ни туда, и ни сюда, а так, по кругу, как цирковая лошадь. Всю обувь до самых пят стопчешь, а всё на месте.

– Вы кто? – наконец-то пришёл на ум не лишённый логики вопрос.

– Это я-то? Да так, никто. Прохожий одним словом, – старик пригладил окладистую, белую как снег бороду и улыбнулся одними губами. Глаза при этом, умные и бесстрастные, в упор смотрели на Женю.

– А... как... что вы тут делаете?

– Еду, так же как и ты.

– Куда... едете?

– А ты знаешь, куда едешь?

– Я? Конечно, знаю... домой еду. Только...

– Заблудился? Давно уж кружишься, чай, не знаешь, как выбраться? Вот я и говорю, всё от направления зависит. Ты вот своё направление знаешь?

– Ничего я не заблудился, – обиделся Женя. – Чего тут блудиться-то? Что я дороги домой не знаю? Сейчас из метро и..., эх, на такси теперь придётся... Я не пьяный... и не ребёнок, сам разберусь как-нибудь...

– Что не пьяный, это верно, а вот...

– Что? Что вы имеете в виду? Что вам надо?

– Ну-ну, сам, так сам. Ступай себе сам.

Старик развернулся к нему спиной, поправил на затылке старую заношенную скуфью и поехал в противоположном направлении, причём по той же ленте эскалатора. Через пару секунд он стал совсем маленьким, а ещё через секунду слился с точкой, в которую сходились линии тоннеля.

Женя снова остался один на ступеньках, уносивших его наверх, на улицу, из душного, опостылевшего уже подземелья метро навстречу прохладе ночной Москвы. Эта поездка уж слишком затянулась и порядком пощекотала Женины нервы. Сначала больной украинец, раздающий доллары, фальшивые конечно; затем голая девица с конём, нахальная такая; говорящая ворона, размером с лошадь; теперь этот старик прохожий. Впрочем, старик ему почему-то понравился, степенный такой, седовласый, гуслей ему не хватает. Но для одного вечера всё равно перебор, скорее прочь отсюда, на улицу, на простор, на воздух. Секунда, и уже отдохнувший, собравшийся с силами Резов бегом, перепрыгивая через две ступеньки, помчался наверх по лестнице и вскоре, тяжело дыша, выскочил... на станцию «Площадь Революции».

– Не может быть, – подумал Женя вслух. – Этого не может быть,... это не то,... это не так, ... это просто галлюцинации,... Ха-ха, я схожу с ума,... этого мне только не хватало.

Вестибюль на этот раз был полон народа, но не совсем обычного, не вполне так сказать адекватного для привычного взгляда на окружающую действительность. Неподальёку справа какой-то солдат в длинной форменной шинели и с огромной винтовкой, ожидая поезда, дрессировал умного, наученного служебным премудростям пса. Чуть левее юный пионер приставивал к губам блестящий горн, не иначе как с целью протрубить тревогу... или отбой. Какой-то чересчур бдительный милиционер, почему-то весь в коже и с наганом наготове, пытливым, подозрительным взглядом осматривал пространство, готовый шлёпнуть каждого, кто вдруг окажется шпионом или диверсантом. В глубине станции симпатичная девушка, присев на корточки, кормила золотистым пшеном петуха. А немного дальше, возле противоположной колонны Женя увидел молодого человека, тоже на корточках, читающего какую-то книгу. Почему-то личность этого парня Жене показалась наиболее заслуживающей доверия и пригодной для общения. «Люди», – пронеслась в голове невесть что обещающая мысль, а ноги сами двинулись вперёд. Он сделал несколько неуверенных шагов к девушке с петухом, но вдруг остановился и, подумав немного, всё-таки направился к парню с книгой.

– Извините, вы не подскажете, как мне...?

Вопрос так и повис на языке, потому что молодой человек, оторвав взгляд от книги, посмотрел на Женю мёртвыми, совершенно пустыми, без зрачков глазами. Он весь позеленел, затем побурел и постепенно трансформировался в вылитую из бронзы фигуру, олицетворяющую советское студенчество. Резов отшатнулся назад, как током егошибануло, и, машинально ища поддержки у первого, кто попадётся под руку, обернулся к девушке. Бронзовая фигура молодой колхозницы-птичницы располагалась на своём месте, там же, где и находится она вот уже несколько десятков лет. Впрочем, как и все остальные фигуры, населяющие станцию.

– Точно глюки. Я, несомненно, схожу с ума.

– Эй, мужик, стакан есть?

Женя очень медленно, мысленно давая себе клятвенное обещание ничему не удивляться, повернулся на голос. Перед ним стояло сизоносое, дурнопахнущее существо неопределённого возраста в грязной, заношенной до дыр одежде, с бутылкой какого-то пойла в руке и вопрошающе взирало на Женю мутным, бесцветным взглядом.

– Я говорю, эй... мужик... стакан... есть?

Резов, не шевелясь, смотрел на новый глюк, на сей раз не только зрительный, но также слуховой и обонятельный. Он ожидал, что вот-вот, с минуты на минуту глюк начнёт перевоплощаться в бронзовую статую, естественно, пролетария, что само по себе не предвещало ничего обнадеживающего. Не то чтобы Женя не любил пролетариат, он просто относился весьма настороженно и недоверчиво ко всякому, кому нечего терять. Ведь от такого можно было ожидать всего, что угодно.

– Ну, чё застыл-то, как баран? Нет что ли стакана? – продолжало настаивать на своей идее ни в какую не желающее бронзоветь видение. – Эх, придётся из горлышка. Из горла-то будешь?

Женя мельком косил взгляд на бронзового пионера с горном. Скульптура стояла на своём месте.

– Ну, чё ты всё молчишь-то? Первый будешь, или после меня?

– Здесь таких скульптур нет, – опасливо, но не без твёрдости заметил вслух Женя.

– Чё? Каких ещё скульптур? Я те русским языком говорю, у меня на закусь только лаврушка, так что ты или...

Женя не стал дослушивать до конца и что есть духу помчался к центру зала, затем вниз по лестнице, в переход на «Театральную».

Тоннель перехода был бесконечно длинным, извилистым и как будто живым, словно пищевод гигантского ползущего удава. Он то уходил влево, то вдруг резко поворачивал вправо, то круто поднимался вверх, то неожиданно проваливался вниз. Резова это уже не удивляло, за последние несколько часов он устал удивляться и просто бежал, не давая себе отчёта куда и зачем. Двигаться в таких условиях было трудно, и вскоре Женя снова устал. Но стоило ему только подумать об отдыхе, как тоннель, наконец, закончился. Запыхавшись, тяжело дыша, он вырвался-таки на простор «Театральной». Выбежать-то, он пробежал, но душа отчего-то была не на месте, что-то напрягало, не давая возможности успокоиться и перевести дух. Может атмосфера, царящая на станции? Может до боли знакомое оформление вестибюля? Скорее и то и другое. А более всего сверкающие золотыми гранями на стене буквы «Площадь Революции».

«Всё! Больше никуда не пойду... Сяду здесь, прямо на пол и буду сидеть, пока не... Всё равно выхода нет, куда ни иди, везде одно и то же, везде тупик. Женю охватило отчаяние, бороться и искать выход не то что бы из метро, но даже из этой проклятой, не отпускающей от себя Революции не было ни сил, ни перспектив. Чувство обречённости и безысходности овладело им. Но не тяжёлое и давящее, как огромная каменная глыба, хотя и непосильная, но не лишаящая последней надежды на какое-нибудь чудо, а невесомо-безразличное, сковывающее и парализующее волю. Так он сидел на полу вестибюля подавленный и потерянный для всех и в первую очередь для себя. «Господи! Что же это, Господи?»

– А я ведь предупреждал тебя, человеке – важно направление правильно выбрать.

Женя поднял глаза. Перед ним стоял тот самый старик с эскалатора и говорил спокойным тихим голосом.

– Вы? Опять? Кто вы?

– Я уже говорил тебе. Прохожий.

– Чего вам надо от меня?

Старик пристально посмотрел в глаза Жене.

– Мне от тебя ничего. Я тебе нужен, если хочешь выбраться отсюда. Пойдём со мной.

– Куда?

– Не спрашивай ничего, сам всё увидишь. Или у тебя есть выбор?

Старик повернулся и сделал несколько шагов к краю платформы, затем остановился и через плечо снова посмотрел в Женину сторону.

– Впрочем, если не хочешь, не иди, заставить не могу. Только знай, другого пути отсюда у тебя нет. «Есть у Революции начало, нет у Революции конца». Направлений много, выход один.

Женя встал с пола и поплёлся за стариком, не столько послушно, сколько безысходно равнодушно. С грохотом подкатил поезд. Они вошли в вагон и двери закрылись за ними. Состав, стремительно набирая ход и стуча колёсами о стыки рельс, исчез, растворился во мраке, унося с собой последнюю ниточку, связывающую одинокого пассажира с прежней, привычной жизнью. Над бездной тоннеля всё ещё полыхали холодным бледно-голубым неоновым пожаром четыре нуля.

Книга вторая. Исход

IX. Странная деревня

...за спиной с грохотом закрылись двери, и состав, стремительно набирая ход, стуча колёсами о стыки рельс, исчез, растворился во мраке, унося с собой последнюю ниточку, связывающую одинокого пассажира с прежней, привычной жизнью. Над бездной ночи полыхали холодным бледно-голубым неоновым пожаром четыре нуля, означающие одновременно конец и начало, некий краткий стык времени между прошлым, которое уже никогда не вернётся, и будущим, которое, Бог ведает, может никогда не наступить. Чисто символический, ничего не значащий, не имеющий под собой никакой реальной основы ввиду своей скоротечности и мимолётности миг, так ничтожно дёшево оцениваемый человеком, размениваемый на всякого рода пустяки и мелочи. Не он ли, этот миг, придя однажды внезапно как снег на голову, словно тать, неожиданным, негладанным гостем, станет вдруг тем, чем, в сущности, всегда являлся – огромным и неиссякаемым как вселенная океаном, никогда не проходящей вечностью? Тогда не будет больше ни будущего, дарящего надежды и чаяния, ни прошлого, дающего неоценимый, ни с чем несравнимый опыт – сын ошибок трудных. Тогда всё будет только настоящее. Миг и вечность – одно. Каким оно будет, то настоящее?

Зачем я здесь? Что ищу я, что потерял на этой старой станции в самом центре огромной страны, носящей такое странное, не связанное ни с каким прошлым, не имеющее никакого будущего, экзотическое название Эрэфия? Не этот ли вопрос, не поиск ли ответа на него привёл меня сюда, за тридевять земель, за сотни сотен вёрст от родного дома? И почему именно сюда? Неужто ответ здесь, в глухом таёжном городке, до которого поезда-то ходят раз в неделю? Неужели он притаился за стенами этого старого, покосившегося от времени здания вокзала, на фасаде которого, как автоматическая коробка передач на «четвёрке» Жигулей, притулились огромные электронные часы, с пылающими в темноте ночи неоновыми нулями? Неожиданно один из нулей вздрогнул и обернулся единицей. Настал таинственный миг, за которым пошёл новый отсчёт нового времени. Ещё несколько мгновений назад этот миг казался далёким, почти несбыточным будущим, а через секунду уйдёт в безвозвратное прошлое, шаг за шагом неумолимо покрываясь, как снегом, тяжёлой, непроницаемой пеленой забвения. Что ж, такова природа вещей, таков порядок, господствующий в безраздельном царстве смерти. Есть ли сила, способная нарушить, поломать этот порядок, разбить эту безысходность и бессмысленность бытия? Есть ли власть сильнее власти смерти, забвения и тлена? Есть! За этим я здесь, поэтому я проехал, прошёл, если будет нужно, проползу ещё сотни вёрст от родного дома. Время летит, оно неумолимо. Вот уже двойка на часах сменила единицу, и дальше будет так же, всё ближе и ближе к смерти. Пора. Надо идти вперёд, прочь от смерти.

– Ндравится? – неожиданно прозвучавший голос вывел меня из состояния раздумья. – ХорОши часы, правда? Большая такая, яркая, из далёка видать. И само главное, очень точная, тютелька в тютельку, никогда не отстают. Это подарок от Президента нашему городу в честь дня его ..., это, как его..., ну, когда его построили-то.

Оглянувшись на голос, я увидел низенькую, кругленькую женщину лет восьмидесяти, в железнодорожной форме, увенчанную невероятного размера фуражкой, и с громадным фонарём в руке. Весь её вид настолько напомнил мне гриб-боровик, что я не смог сдержать улыбку.

– Ндравится? – повторила она и тоже удовлетворённо растянула рот до ушей.

– Здравствуйте, – наконец отозвался я, ничего не отвечая на прямой вопрос, чтобы не обидеть женщину-гриб.

– И тебе здравствовать, милоч. Погостить к нам приехал, али по делу какому? В командирокву чё ли, али как?

– Нет, не по делу. Просто так... путешествую. А вы тут...

– Правильно, милоч, правильно. Дело-то молодо. Чё дома-то сидеть? – перебила она меня. Впрочем, вовсе не грубо, а по-хозяйски обстоятельно, с характерными для глубинки нотками собственной патриархальной значимости и представительности. – Походить надобно, погулять, мир посмотреть, чё, где да почём. Правильно, молодца! Дома-то сидючи разе чё узнашь? А я вот всю жизнь тут. Давно-о уж! Никуды не ездила из городу-то, хоча и на вокзалхле работаю. Так и состарилась – ничёго не видала, нигде не бывала.

– Так вы, наверное, всё здесь знаете? Не подскажите мне...

– Всё! Всё знаю, милоч, каждый закоулочок, каждый камушок, каждую травинку-былинку, – снова не дала она мне завершить мой вопрос, и какая-то особенная старческая гордость за себя и свой край засияла в ней пуще её огромного фонаря. – А как же, я чай выросла здесь, никак девятый десяток уж разменяла! И всё тут, никуды не выезжала! Я те прямо скажу, город у нас славный, оченно хороший. Шибко древний, аж при царях ещё поставлен тут. Ну, конечно, не Москва ваша. А я те так скажу, люди у нас – ни в каких Москвах не сыщешь, во как! И девки уж больно хороши – румяны, ядрёны, заводны... Ты, часом, не женатый ишо?

– Нет, не женатый. Мне бы узнать...

– Всё расскажу! И покажу, и объясню. Я здесь всё знаю. И хоча достопримечательностей у нас не особо шибко, но кое чё есть тако, чего и в Москвах-то ваших нетути! Пойдём со мной, милоч, покажу уж. Следующий поезд всё одно токмо через неделю будет. Ну, пойдём, чё стоишь-то?

Я повиновался. Мы сошли с перрона, прошли через здание вокзала, такое же обшарпанное изнутри, как и снаружи, и вышли на привокзальную площадь.

– Во, смотри! – гордо, с чувством какого-то особенного достоинства, свойственного всякому кулику, хвляющему своё болото, произнесла старушка-гриб. – Ну, чё я те говорила?! В Москвах-то ваших есть чё-нито тако, а?!

А гордиться действительно было чем. Я, во всяком случае, ничего подобного в жизни не встречал. Прямо посередине довольно обширной площади, окружённой со всех сторон старыми покосившимися зданиями, высилось грандиозное сооружение. И не просто сооружение, а самый настоящий фонтан. В центре его чуть выше поверхности воды располагалась гладкая мраморная площадка, из которой, как символ плодородия, рос невиданных размеров и невероятной реалистичности гранитный фаллос. Рядом, застыв в откровенной позе эротического танца, как бы возле шеста, красовалась обнажённая девица пышных мясистых форм. Всеми прелестями танцовщица обращалась к вокзалу, будто бы призывая гостей города к открытости и демонстрируя им особое, нелицемерное гостеприимство. Самому же городу от щедрот её оставалось лицезреть только большой аппетитный зад дивы. По периметру фонтана располагались четырнадцать русалок, сжимающих сильными, мускулистыми руками свои перси, из которых прямо на фаллос извергались разноцветные нити воды. Сам же символ плодородия время от времени выплёскивал из недр своих мощную, высотой в пятиэтажный дом струю, рассыпающуюся в апогее разноцветными брызгами.

– Ндравится? – в третий раз спросила старушка-гриб. – В Москвах-то ваших такого, небось, не видывал?

– Да-а! – ответил я двусмысленно. – Такого действительно я ещё не видывал.

– То-то уж! Красиво, правда?

– Да чего же тут красивого? Пошлость какая-то! И кто же эту гадость слепил?

– Тише, тише ты, охальник... расшумелси тут... – зашептала старушка-гриб, прикрывая рот ладошкой. – Оно, конечно, страмно, чаво уж, – произнесла она совсем тихо, стараясь дотя-

нуться к моему уху. И вдруг, как будто осмелев, заговорила в полный голос, озираясь по сторонам. – Это же сам Президент велел! Это ж... как его... искусство, во!

– Как? Президент? Какой президент?

– Как это, какой? Во какой! Настоящий! Нашенский! Он когда приезжал к нам в город по случаю освящения храма святого Вафлентина..., с патриархом вместе приезжали, да-а..., то тако вот прямо и сказал: «А чёй-то у вас, – говорит, – площадь-то пуста совсем? Нехорошо, – говорит, – непорядок! Грязюка везде, – говорит, – надобно, – говорит, – тут построить чё-нито. Хоть вон хвонтан чё ли, в честь праздника святого енто, ну, Вафлентина стал быть». А у нас и взаправду хвонтонов-то энтих отродясь не было. Жили себе как-нито без них, жили, не тужили. А тут как приспичило! Чувствуем – надо! Ну, нельзя же так! Нехорошо! Как-нито Ивропа! Надо же растить над собой, не при царях же живём! Свободы надо и енто, как бишь его, ну, чтобы у каждого было право своё, во как! Вот начальство-то наше покумекало-покумекало и решило – будем строить хвонтан ентот. Президент-то самолично прислал к нам сюды свава..., ну, архитектура..., да как бишь его, горемычного? ... ну, главный там у них по ста-тУям... грузинец чё ли, али наоборот, армян. Вот он ентот хва... хво... – слово иностранно тако, не припомню – ну, в общем, член ентот с бабой и слепил. А чё, красиво получилось, жизненно тако, – и снова тихим шёпотом, еле слышно, – хочь, конечно, и страмно. Тьфу! Да людям ндравится. Вечеру-то весь город сюды ломится. Всё боле молодёжь, но и в возрасте есть тож. Целуются тут, трутся, слышь ты, титьками дружка о дружку – прямо теахтур. Мне с вокзахлу-то хорошо всё видать.

Некоторое время мы молчали, слушая, как вода журчит в фонтане.

– Я те, милоч, так скажу, у нас теперя всё как у людей. Не то, что раньше, при коммунистах-то энтих, али при царях. Эксплаватировавали нас все кому не лень, а мы знай себе – терпи и пикнуть не могли. А щас жизнь-я, как парно молоко на киселе. У нас уже, если хочешь знать, как в ваших Москвах. Во как! И четырнадцато хвевралья выходной тож! Вот! Народно гулянье, праздник, вафлентиновки енти дружка дружке дарим. А чё, как положено, всё по закону, как у людей.

Она вдруг замолчала, задумалась и продолжила, заговорщицки хихикнув.

– Хи-хи. Слышь, милоч, раньше-то, давно уж, при царях ещё дело-то было, день такой был, Юрьевым звался. Мне бабка моя сказывала, а ей еёйна бабка. Так вот, в ентот самый Юрьев день послабление выходило мужику-то. Он, мужик значить, мог от барина свава уйтить куды хошь и найтить себе другого, получшее. А теперя вот, хи-хи, ентот Вафлентинов день заместо того учинили. Стал быть и бабы, значить, и девки даже, могут от своих мужиков уйтить и других себе сыскать. Да-а! Право тако имеют! А коли, у кого мужика-то не было вовсе, ну, девки там незамужни ишо, дык гуляй с кем попало, под кого душа ляжет. Не возбраняся! Закон теперя такой.

– А мужики что ж?

– А чё, мужики? Они тож могут. Все могут. Равноправие!

– А как же семья, дети?

– Дык не насовсем ведь уходят-то, дурилка. Погуляют маненько и домой вертаются. А как же ж? Мы закон-то знам. Честь надобно беречь смолоду! Чё баловаться-то? Чай не в Америках там разных. Ты как знашь, а я тебе так скажу, святой Вафлентин ентот – воистину наш, расейский святой, не какой-нито американец, али эфиоп. У нас даже икона его висить в церкви, прямо рядышком с Президентом. Вот!

– С кем?! С президентом?! А его-то за какие подвиги повесили?

– Што ты, што ты, милоч, а иде ж ему ещё висеть-то как не в церкви? Он же главный тут, чай не мужик какой-нито. Вот так тебе Вафлентин ентот, а тут, посерёдке Президент. Здравой такой, с саблей. А как же ж, закон-то знам. А бабы наши и девки тож потихоньку всё ему свечки носят и молятся.

– Президенту?

– Да не, Господь с тобой. Президент-то живой ишо. Вафлентину ентому. Как помрётъ, сердешный, так ему тож будутъ свечки таскать.

– Валентину?

– Не-е, якось ты глупой. Вафлентин уж помре, давно ишо. А то чё ж ему свечки-то? Президенту! Ну, ты, на чё меня, старую, подбивашь? Чё тако говоришь-то? Ты, енто, как его, не крамольничай тут, не в парламенте чай.

Я решил сменить тему, перевести её в другое русло, более значимое для меня.

– Так ты, бабушка, говоришь, всё тут знаешь?

– Яка я табе бабушка? – обиделась моя собеседница. – Я ишо старушка хочь куды! Мне сам мер наш вафлентиновку присылал, вот! Почётну! За безупречну работу на вокзахле. Бабушка! Ты хошь, не хошь, а я табе так скажу, нонче всяк имеет своё право на личну жизнь, и мужики, и бабы. А я ишо пока, как-никак, женщина.

– Ну, простите меня ради Бога, я не хотел вас обидеть.

– Да ладно, чаво уж там, – подобрела она сразу, – али я не вижу, парень ты хороший, вежливый. Только я табе так скажу, ты приезжай к нам на четырнадцато хвевраля – девку табе сыщем. Девки у нас хороши, ядрёны, заводны. А нито ступай взавтре в церкву, прямо с утра, тамо девок много будет и молодух тако ж. Все глазёнками так и зыркають, мужуков сабе ишшуть. Мер наш строго следит за ентим, ну чтоб народ в церкву-то ходил, Президенту кланялси, и каждой девке мужика штоб. Эта, как его, дерьмографическа политика, во! А сичаса ночь. Ночью у нас тихо, спят усе, порядок-то знам.

И правда, на улице не было ни души, всё дремало, покоилось недвижно и безмятежно. Только вода в фонтане ласково журчала, убаюкивая, навевая сладкие цветные сны.

– Спасибо вам, – поблагодарил я, насытившись данной темой, – только не за тем я приехал. Мне надо найти деревню одну здесь, в вашем районе. Старая деревня, известная, должно быть. Вы тут всё знаете, может, подсобите мне, подскажете, как до неё добраться.

– А чё, помогу, чё ж не помочь-то. Ты как хошь, а я табе так скажу, лучшее баб... тётки Клавдии тебе никто не поможет! Я тута всё знаю, родилась недалече, всю жизнь прожила. Так что ты не сумливайся, помогу. Яка деревня-то?

– Закудыкино.

Старушка-гриб вдруг изменилась в лице, даже, как мне показалось в темноте ночи, побледнела. Она подняла свой фонарь, так чтоб он лучше освещал меня, и долго, напряжённо всматривалась в мои черты цепкими, пытливыми глазками.

– Как говоришь, Закудыкино? А на што воно табе? Чёй-то ты там потерял? Али ищешь кого?

– Ищу, тётка Клавдия, дело у меня очень важное.

– Како тако дело? Уж не удумал ли ты чаво?

Она продолжала осматривать меня пристальным, испытующим взглядом, как будто подозревала в чём-то и искала в моём лице, во взгляде, в одежде подтверждение своих подозрений. От былой её весёлости и приветливости не осталось и следа.

– Нет. Не похожий, вроде, – проговорила она еле слышно после некоторой паузы и опустила фонарь. – Како тако Закудыкино? Не знаю ничё такого.

– Как не знаете? Тётка Клавдия, вы же всё здесь ведаете, сами говорили. Что с вами стряслось-то?

– Всё знаю. И сичаса говорю, всё знаю! А я табе так скажу, мил человек, коли, говорю, что не ведаю, стал быть, и нет ничё такого. Закудыкино ему подавай, ишь, – ворчала она, не глядя более мне в глаза, а смотрела куда-то себе под ноги, будто, смущаясь. – Вот Первомайское есть, или посёлок Слава Труду, а хошь, Новопрезидентское...

– Тётя Клава, я же знаю, что есть Закудыкино. Зачем вы меня обманываете? Вы же не умеете врать. Совсем не умеете.

– Сынок, – она снова подняла на меня свои глаза, полные сожаления и даже какого-то сострадания. – На кой тебе то Закудыкино? Не надобно тебе туды. Хошь, в церкву взавтре вместе пойдём, с девками познакомлю? Есть у меня одна на примете – прямо для тебе, хочь всю землю исходи, а другу таку не сыщешь. И работяша, и грудаста, и ласкова, любить тя будет, деток тебе нарожат, чаво ишо надо-то, – теперь она даже, как будто, умоляла меня, словно охраняя от чего-то страшного и опасного. – Ну, на кой воно тебе, то Закудыкино? Нельзя туды, нехорошо там.

– Значит, всё-таки есть такая деревня, и вы её знаете? Помогите, тётя Клава, мне очень туда надо.

– Не знаю никакого Закудыкина! Нету здесь такого, и не было никогда. Да и некогда мне тута с тобой лясы точить. У меня вона поезд скоро... через неделю... недосуг мне....

Старушка-гриб снова опустила голову, как-то поникла будто от большого тяжёлого горя и, отвернувшись, медленно поковыляла на коротеньких ножках к своему вокзалу, напевая грустно и протяжно не то молитву, не то плач, но почему-то, как мне показалось, по-немецки. Уже почти у дверей она вдруг остановилась и обратила ко мне полное слёз лицо.

– Как звать-то тебя, сынок?

– Уже никак. Или ещё никак. Что вам в имени моём, я и сам его не знаю теперь. Ну, всё равно, спасибо вам, и простите ради Христа, если обидел.

– Бог простит. Ты меня, старую, прости, – она собралась, было, открыть дверь, но при-остановилась, – и помолился тама за меня, можа и простит старую.

Она вошла в здание вокзала и тихо закрыла за собой дверь. Я остался один на площади незнакомого ночного города, не зная куда податься, у кого спросить, разузнать дальнейшее направление моего пути.

Как вдруг рядом со мной, страдальчески скрипя тормозами и грохоча крыльями, как выпившая ворона, резко остановился выдавший виды Жигулёнок шестой модели с оранжевым фонарём на крыше. От неожиданности я шарахнулся в сторону и собрался, было, используя весь свой немногочисленный запас ненормативной лексики, объяснить товарищу водителю, насколько он неправ. Но дверца машины отворилась, из салона показалась сначала лысина, а затем улыбающаяся круглая физиономия.

– Куда едем, командир?

После реакции на Закудыкино тётки Клавдии я почему-то не решился назвать цель моего путешествия, но и отпускать водителя – единственную в данной ситуации возможность что-либо разузнать о странной деревне – мне не хотелось.

– Ну, чего мнётся, как невеста на выданье? Или забыл, куда едешь?

– Да нет, не забыл, просто думаю, как сказать. Я ведь только что приехал, ничего ещё здесь не знаю.

– Ну, садись, разберёмся.

Я не хотел заставлять себя уговаривать и послушно залез в машину. Она недовольно заурчала, потом захрюкала, зарычала, но с места не стронулась.

– Дверь закрой, мОлодец, чай не в пещере.

Я закрыл ещё раз, потом ещё, в конце концов, закрыл так, что задрожали стёкла в доме напротив. Жигулёнку видимо третья попытка понравилась, во всяком случае, он не стал дожидаться четвёртой, а удовлетворённо фыркнул и, яростно скрипнув крышкой об асфальт, помчался по прямой как стрела улице прочь от вокзальной площади.

– Так куда едем, командир? – заговорил таксист, когда мы миновали грандиозный памятник воину-освободителю. – В гости к кому приехал, или в гостиницу? Ты, я вижу, не местный?

– Вы угадали, я здесь впервые. Но мне не в гостиницу, мне за город. Вы тут окрестности хорошо знаете?

Ещё пару минут мы, молча, неслись по ночному городу, как вдруг резко, не сбавляя скорости, свернули на узкую тёмную улочку. Водитель неожиданно спросил.

– Пиво будешь? Вон в бардачке возьми. Свежее! Местный пивзавод не хуже ваших, Московских! И сервис туристический у нас тоже не хуже вашего. Ты ведь из Москвы? Турист?

– Да, из Москвы. Вы снова угадали.

– А чего тут угадывать, оно и так ясно.

– Что, Кремль видать?

– Ещё как видать. Я сам москвич, здесь всего семь лет. Свой свояка... Так ты пиво-то будешь?

– Нет, спасибо. А куда мы едем?

– Пока прямо, а дальше, как прикажете. Ты ж не говоришь ничего.

Я решился. Будь, что будет.

– А вы знаете, где находится деревня Закудыкино? Как туда проехать?

– Закудыкино, говоришь? – таксист нахмурился, в голове его видимо происходил серьёзный мыслительный процесс. Только не понятно было, какую дилемму он сейчас решал – то ли усиленно вспоминал дорогу до места назначения, то ли никак не мог решиться, везти ли незнакомого пассажира в эту подозрительную деревню, да ещё среди ночи.

– Значит, в Закудыкино, говоришь? А зачем тебе туда? Что ты там потерял? Может бабу? Так их и здесь навалом. Такому фортовому парню только свистнуть.

– Послушайте! – не выдержал я. – Что, собственно, происходит? Если вы не хотите ехать, я не заставляю, остановите машину, я выйду и поищу кого-нибудь другого.

– Да не пыли ты, спросить нельзя что ли? Кого ты тут среди ночи найдёшь? Здесь тебе не Москва, здесь люди нормальные живут. Едят за столом, мочатся, пардон, в унитаз, днём дела делают, а ночью, извините, спят. На улице ночевать хочешь? Сиди уж.

Секунд десять мы молчали.

– А ты сам-то кто такой будешь? Если не секрет, конечно.

– Да нет, не секрет. Так, никто, путешествую просто.

– Путешественник, значит. Робинзон, типа?

– Почему Робинзон?

– Ну, он тоже всё путешествовал, путешествовал, пока не влип в историю. Сидел бы себе дома, чай пил, жену любил, книжки свои писал, и не торчал бы столько посреди океана.

– Чудной вы! Да разве напишешь чего путного, сидючи дома-то?

– Может ты и прав, да только...

Таксист замолчал и снова задумался. Всё-таки, что-то он там решал в своей лысой голове и никак не мог решить. А машина всё мчалась по пустынному ночному городу, огибая ухабы, надолбы и выдолбы вздыбившегося то тут, то там асфальта, лихо вписываясь в крутые повороты узеньких, пьяных улочек, пока вдруг резко не остановилась у тротуара под одиноким тусклым фонарём.

– Ты знаешь, Робинзон, я не смогу отвезти тебя в Закудыкино, – как бы извиняясь, сказал водитель.

– Почему? В чём дело, объясните мне, чего вы все так боитесь? Что там такого в этой деревне, война что ли, или маньяк-убийца орудует?

– Хуже. Там... – он снова задумался, – ...дорога там плохая. Честно говоря, её там вообще нет. Была когда-то раньше, да разрушилась от времени. Не ездит туда никто. Давно уж. Ты первый. А машина,... сам видишь какая. Как паровоз,... старенькая уже, застрянем где-нибудь, что тогда?

– Ну, хорошо, – вполне удовлетворился я его объяснением. – Но подскажите мне хотя бы, как добраться.

– Запросто. От автостанции ходит автобус до Первомайского, там через речку, а дальше пешочком. Недалеко, километров семь-восемь. Если повезёт, встретишь местного с мотоциклом, подбросит.

– А автостанцию как найти?

– Да вот же она, приехали уж. Правда автобусы только утром пойдут, но в зале ожидания кресла есть, покемаришь пока, всё лучше, чем на улице.

– А-а. Ну, спасибо. Сколько я вам должен?

Таксист опять задумался. Его манера обдумывать ответы на довольно простые вопросы начинала раздражать.

– Да-а, нисколько, – махнул он рукой, – как-нибудь сочтёмся.

– Спасибо вам огромное! Что бы я без вас делал? – искренне поблагодарил я, открыл скрипучую дверцу агрегата с гордым именем «LADA» и вышел на тротуар. – До свидания, ещё раз спасибо.

– Да ладно, Робинзон, не шаркай уж, невелика услуга-то. Бывай.

Жигулёнок резко рванул вперёд, но метров через двадцать вдруг остановился и подал назад. Водитель вылез из машины и подошёл ко мне.

– Слышь, браток, а то может, останешься а? Далась тебе эта деревня, поедем ко мне. Я тут недалеко, пивка попью, я угощаю. А завтра махнём на рыбалку, я тут такие места знаю... – выпалил он на одном дыхании, будто знал, что ему откажут. И словно ожидал отказа.

Я смотрел в его добрые, жёлто-зелёные глаза и дивился столь трепетному участию в совершенно незнакомом пассажире. Или радушное гостеприимство, являясь характерной чертой местного населения, выражалось не только и не столько в оригинальной скульптурной композиции фонтана, или... одно из двух.

– Нет, спасибо. Я здесь подожду, а утром поеду.

– Ну, как знаешь. Ты командир, тебе и стрелять, – он направился, уж было, к машине, но вдруг остановился. – Только... ты уж не говори никому, куда едешь. Не надо. Спроси в кассе билет до Первомайского, а дальше сам разберёшься.

– А что, Закудыкино у вас тут запретная зона, что ли?

– Типа того. Сам увидишь.

Х. Сказка старого еврея

Автостанция оказалась вполне современным и симпатичным зданием. Во всяком случае, внутри зала ожидания меня встретили мягкие, уютные кресла, в которых действительно можно было довольно комфортно дотянуть до утра. Я удобно устроился в одном из них, а ласковая тишина пустого помещения и располагающее, я бы даже сказал, интимное ночное освещение очень скоро помогли мне прийти в блаженное состояние дрёмы. Кажется, я даже начал видеть сон и, наверное, досмотрел бы его до конца, если бы какие-то посторонние звуки, неожиданно долетевшие до заторможенного сознания, не намекнули бы мне довольно прозрачно, что я здесь не один.

– Кто тут? – бросил я в пустоту, очнувшись от забытья.

Тишина ответила, как ей и полагается, тишиной.

– Показалось, наверное, – успокоился я и собрался, уж было, побежать вдогонку за умчавшимся сновидением, как звуки повторились. Они были похожи на шуршание металлической фольги, сопровождаемое каким-то бульканьем, или что-то вроде этого.

На сей раз я без сожаления отпустил предательский сон мчаться, куда ему вздумается, в поисках другого, более благодарного зрителя, а сам поднялся с уютного, не желающего меня

отпускать кресла и направился в дальний, самый тёмный угол помещения, откуда, как мне показалось, доносились звуки. События этой ночи в незнакомом городе, непонятные мне опасения и какой-то даже страх, вызываемый у местного населения одним упоминанием о Закудыкине, невольно призывали к осторожности и настоятельно требовали вооружиться. На всякий случай. Что я и сделал, благодаря случайно подвернувшейся под руку швабре и значительной порции адреналина, брызнувшего мне в кровь. А что оставалось делать? Больше-то всё равно ничего не было.

В таком воинственном виде, ощущая себя средневековым рыцарем, абсолютно без всякого страха (ну, может только самую малость) и без какого бы то ни было упрёка я медленно, но верно углублялся во мрак навстречу неведомой опасности, пока не разглядел фигуру, сидящую в уединении, напряжённо, с ужасом в глазах взирающую на меня.

– Молодой человек, вы таки намерены меня этим побить? – произнесла фигура абсолютно невинным и весьма напуганным голосом. – Ну вот, так я и знал. Стоит только бедному еврею поиметь в пространстве маленький, совсем-таки крохотный уголок и собраться со своими самыми интимными предположениями немножко покушать, как его обязательно кто-нибудь захочет на предмет побить. Хорошо! Хорошо! Я сейчас-таки уйду насовсем. Я же не знал, что все эти места здесь ваши. И откуда я мог-таки это знать, если тут никого не было до вас?

– Ой, простите, – я понял, в каком дурацком положении оказался и отбросил швабру в сторону. – Я не собирался вас бить, уверяю. Напротив, я думал обороняться. Знаете ли, я немного испугался..., мне казалось, что я здесь один...

– Он испугался. Вы таки это слышали? Он испугался! – человек, видимо, освободившись от ощущения угрозы, смотрел теперь на меня с явным облегчением. – Молодой юноша, что я вам сейчас-таки важное скажу! Откуда вам знать в вашем-то возрасте, что такое есть испугался? Садитесь же и послушайте, что такое испугался. Садитесь-садитесь, я не имею намерений вас покусать. Внемлите рассказу человека, который, не смотря на то что еврей, и даже вопреки этому обстоятельству немножечко пожил-таки в этой жизни и кое-что сумел в ней разглядеть. Так вот, когда к моему дедушке... Успокойтесь, он тогда ещё, смею вас заверить, не был моим дедушкой. И вообще ничьим дедушкой быть не мог, потому как был тогда приблизительно такой же молодой поц, как вы сейчас. Так вот, когда к моему дедушке ночью, представьте себе, ворвались пьяные матросы, на предмет моей бабушки – она таки, к несчастью, оказалась женщиной и весьма привлекательной – вот он таки испугался. Да, да! А что бы вы сделали на его месте? Вы, конечно, думаете, что мой дедушка стал-таки хватать швабру и переть, простите, на рожон? Нет. Не угадали. Смею вас заверить, он был мудрый человек, иначе так никогда не стал бы моим дедушкой. Он быстро оценил всю ответственность положения и сказал,... Только не подумайте что матросам. Нет, этим товарищам не нужны были слова бедного еврейского дедушки, они пришли-таки поиметь своё нехорошее революционное удовольствие, а отнюдь не слушать какого-то еврея. Он сказал бабушке: «Сарочка, любовь моя, если этим молодым товарищам непременно нужно, чтобы ты была с ними поласковее, а ни то их революция может немножко испортиться, то не надо им рассказывать, что тебе это будет не очень чтобы приятно, но даже обидно. Они не поймут. Поимей, наконец, своё удовольствие, потому что с твоей болезнью другой такой оказии у тебя таки больше не случится». И что вы себе думаете, молодой человек? Эти любезные матросы таки не тронули мою бабушку. Они просто немножко побили моего дедушку и отправились по другим своим важным революционным делам. К счастью ли, к несчастью, но моя бабушка была не единственной женщиной в нашем насквозь революционном квартале. А вы говорите – испугался.

– Простите, пожалуйста, ещё раз. Я думал, что здесь никого нет, а тут звуки...

– Ну и что ж? Я тоже думал, что здесь никого нет. Потом, когда вы пришли, я перестал уже так думать. Вы спали, а у меня таки бессонница, и я собрался немножко покушать. Моло-

дой человек, когда вы станете таким же старым и бедным евреем, каким бесспорно являюсь я, вы таки поймёте, что такое бессонница и что такое покушать на ночь. Простите, что не сделал вам своё предложение. Не хотел вас беспокоить, вы так сладко спали, а у меня опять же бессонница. Но теперь, когда вы уже, по-моему, не спите, разрешите поиметь честь, пригласить вас к скромному еврейскому ужину. И оставьте, пожалуйста, эту вашу манеру вежливо отказываться! Здесь нет ничего такого, от чего честный человек может отвернуть своё, пардон, лицо: маслины, сыр, осетринка, икорка, немножко фруктов – так, хлеб-соль. Позвольте предложить вам старого доброго Армянского коньячку?

Я не стал ломаться, и мы выпили за мирное сосуществование великого русского и великого еврейского народов. Коньяк был действительно превосходный, а лёгкий ужин пришёлся как нельзя кстати – я почти сутки ничего не ел. За трапезой мы разговорились и познакомились. Мой собеседник оказался профессором археологии, приехавшим из Москвы на том же поезде, что и я, и направлялся в одну из множества местных деревушек, где, как оказалось, велись раскопки. Должно быть, для ознакомления с какими-то новыми находками, представляющими историческую ценность. Он не стал любоваться фаллосом на привокзальной площади и слушать рассказы старушки-гриба о местных достопримечательностях, а прямиком отправился на автостанцию. Поскольку последний автобус давно ушёл, а следующий будет только утром, он решил дожидаться рассвета в уютном кресле зала ожидания и выбрал для этого самый дальний и тёмный угол. Профессор так, наверное, и просидел бы всю ночь один, если бы не явился я. О цели моего путешествия я предпочёл умолчать, да он и не спрашивал, в основном рассказывая сам и украшая свою речь чисто национальными словесными узорами. Я не возражал, тем более что слушать его было интересно и даже приятно. Но вскоре, сам того не подозревая, он завёл речь о предмете, живо интересующем меня, как никакой другой. Профессор опасливо оглядел пустой зал, придвинулся поближе ко мне и, понизив голос почти до шёпота, заговорил. Я весь обратился в слух.

– А вы знаете, молодой человек, есть тут одна преинтереснейшая деревушка – замечательная, я бы сказал, деревушка, старинная, со своей историей, выдающаяся в прошлом и уникальная в настоящем. Правда, сейчас там... кхе... об этом небезопасно говорить, но вам таки можно, вы внушаете старому еврею доверие и симпатию. Я имею-таки надежду не обнаружить в вашем лице антисемита или, простите великодушно, болтуна. История крайне, я вам скажу, занимательная, и название у деревни с большим таки смыслом – Закудыкино. Интересно? А вот послушайте-ка, о чём народ помнит.... Кстати, заметьте себе, это было очень давно, так давно, что не только вас, меня, моего дедушки, но даже прадедушки моего дедушки не было и в помине. Но чтобы вы не подумали, что старый еврей сам всё насочинял, передам слово в слово, как о том старинные летописи говорят...

Мой новый знакомый затих на минуту, задумался, будто складывая в памяти отдельные куски поседевших от времени легенд в единое связное повествование. Он даже, как мне показалось, изменился внешне, преобразился под воздействием своих мыслей. И вот передо мною не еврей вовсе, а старый седой сказитель – русский баян, плавно и размеренно повествующий о делах давно минувших дней, преданьях старины глубокой.

Было то в стародавние времена. А можа и не было вовсе, можа придумал всё заезжий якось пиит, да и распустил слух по земле-матушке, а народ легковёрный подхватил, да присочинил малость, а можа и не малость. Было ль, не было ль, а только вот что народ бает. Ещё Грозный Государь Иоанн Васильевич ссылал в эти места опальных бояр. Они, горемычные, оседали небольшими поселениями, обзаводились каким-нито хозяйством, осваивали всяко разное ремесло, отбивались от местных кочующих дикарей, возводили церкви, звали в них странствующих монахов.... В общем, приживались к новым местам, кто как мог, как кому Бог угото-

вил. А места эти заповедные промеж себя обозвали Закудыкино-Русью, потому как глухомань здесь была глубь-далёкая, самая окраина тогдашнего Русского Царства. А особо крупное поселение, особо крепкое, центр, стало быть, своего края – просто Закудыкино. И чем не стольный град? На высоком статном холме, за прочными неприступными стенами из ладно подогнанных вековых в три обхвата стволов, со своим величественным храмом на самой вершине. Вокруг дикие, непролазные леса с ценной живностью и россыпями грибов да ягод, недалеко река широкая и степенная с неисчислимыми, хоть руками лови, косяками рыбы всякой да прочей рыбицы, заливные луга с сочной, мягкой травой, а земля... хочь на хлеб мажь её родимую да кушай на здоровье. Славное место, благодать Господня. Сам Ермак Тимофеич здесь бывывал и оченно эти места нахваливал Государю в своих донесениях. Царь не возражал супротив такого раздобрения своих некогда опальных бояр. Да и чего возражать-то? Эдакому форпосту на окраине, на крепость и славу государства великого да на страх и зависть врагам лютым, только радоваться да благодарить Господа за милость отечью. Так и жили, слава Богу.

Осел здесь в те времена боярин один по фамилии Берёзов. Ладный муж. И воин, каких поискать, и умом Бог наградил, и мудростью житейской, обо всём свою заботу имел, на всяку беду, что внутри Закудыкина притаилась, али из-за стен высоких оскалом зубов хищных лязгает, имел свой ответ, да такой, что в другой раз неповадно будет. Одним словом, человек государственный. Чем-то он Государя-батюшку прогневал? Не ведали про то. А только молва в народе прошла, что по навету завистливых злопыхателей Царь упёк боярина. Слава Богу, что головушку не оттяпал – скор был на расправу Грозный Царь – а указал токмо на путь-дорожку в леса дикие, дремучие, за высокие горы, за далёкие доли, прочь от светлых глаз своих на торжество завистникам. Поговаривали – не без своего тайного государева умысла. Чего уж поделять-то, такова, видать, воля Божья. Везде люди живут, нигде не пропадут, особливо которые со смекалкой да с честью в ладу.

Прижился в Закудыкине и Берёзов, обстроился, хозяйство завёл, дело управил. А как присмотрелись к нему братья-поселяне, провели про такие его замечательные качества, собрались мирком да поставили боярина промеж себя старшим. Типа атаманом, значит. Али воеводою, это уж кому как ндравится. С этого самого времени и пошло Закудыкино в рост, да так, что годков уже через десяток в диковину стало, что только давеча в этих местах гуляли на вольной волюшке одни токмо медведя да лисицы с куницами. Мудро управлял Берёзов землёй-то этой, поселяне шибкое довольство выказывали боярином. Потому как сыты были и одеты впрок, да деньга водилась, не переводилась, всяк через него свою правду имел да закон Русский знал и читил. Закудыкино же при нём изменилося лепо. Камень белый по реке доставили да на месте старых, бревенчатых новые из того камня стены выложили, улицы замостили, да взамен деревянной церкви всем миром белокаменный храм-птицу поставили. Загляденье! Лучшие мастера колокола отлили, так что разливался благовест по всей заповедной Закудыкино-Руси. Сам Архиерей Вологодский прибыли тот храм во имя Святого Воскресения Господня освятить, да заодно по всем улицам, тож вдоль стен крепостных крестным ходом пройти со псалмами и молитвами да святой водичкой всё то окропить, чтобы, значит, никака беда тех стен не замала. Архиерей у боярина-то Берёзова трапезничать изволили, да землю эту под свой преосвященный догляд взять обещались. А в храме новом своего протопопу службу править поставили.

Соседи кочевые присмирили на долгие годы, луки да стрелы попрятали, и души свои поганые⁷ в эти места с лихим умыслом казать уж поостереглися, токмо разве что по торговому делу. А торговля в местах тех знатная задалась – лес да пенька, мёд да икра, меха наиценней-

⁷ Поганный – (истор.) религиозно нечистый, неверный, также языческий, иноверец. Пример: «Постоим! постоим! — закричали все разбойники в один голос. — Не дадим поганым ругаться над святою Русью!» А. К. Толстой, «Князь Серебряный», 1842—1862 г. Или: «И что делать тому, которому случилось быть у поганых в неволе, и для свободы своей безбожную оных веру принять, а потом обращается ко исповеданию Христианскому?» Петр I, «Регламент или устав духовной коллегии», 1721 г.

шие да камушки самоцветные, а сребра да злата по долам рассыпано было в изобилии. Всё в оборот шло да деньгой в сундуках кованых оседало на благо люду Русскому. Да и казне государевой перепадало немало. Каждому добра хватало, ежели, конечно, кто не ленился, на печито лёжучи. Не один на том деле нажил мошну. И всё было, вроде бы, ладно да складно. Всё, да не всё.

Засела на сердце воеводином грусть-тоска великая, скорбь неутолимая. Был у боярина Берёзова сын единственный, кровиночка, наследничок всем его делам и начинаниям. Любил он его шибко, души в нём не чаял. Ещё как был тот мальцом совсем, везде с собою таскал сынка по всем поприщам на плече своём богатырском, а как подрос, на коня посадил, да ратному делу самолично обучил. И молодчик-то вырос статный – сажень в плечах, голова в кудрях, росту аж три сажени с лишком, весь в отца пошёл, и умом, и телом, и сердцем великим. Чего, кажись, отцу не радоваться, о чём кручиниться? А и было о чём.

Не лежала душа у молодого Берёзова ни к делам ратным, ни к поприщу государственному. И хотя отцу он, как доброму сыну подобает быть, не перечил, науку отцову изучал прилежно, со старанием, все поручения его и задания исполнял справно и в точности, да токмо без азарту как-то, без удали молодецкой, как бы нехотя, со скукой. Игры богатырские со друзьями-молодцами его не радовали, веселы пирушки со хмельным бражничаньем не веселили, а от дел торговых да, тем паче, государственных так просто зевал – рот до ворот, хочь святой водичкой его опрыскивай. И ведь не лентяй же был, слава Богу, не лежебока. Ни в бою кровавом, ни за плугом, ни в ином каком поприще, коли нужда случится, равных ему не сыскати было. Любого за пояс заткнёт, что сверстника-молодца, что мужа бывалого и силою молодецкою, и твёрдостью карахтера, и прилежанием старательным. А токмо всё без настроения, без радости, без озорства, аки из-под палки. А всего более любил Берёзов-младший время за книгою коротать да в молитве уединённой. Бывало, натащит из лавки церковной книг служебных али житий святых, обложится весь оными в светёлке своей и читат день-деньской, а дня не хватит, так и ноченькой тёмною при свечечке. Устанет читать – отложит книжицу да на колени пред образом, освещённым одною лампадкою махонькой. Да молится так жарко, так искренне, будто не доска перед ним размалёвана, а сам-свет Боженька строгий да ласковый, грозный да любящий, как батюшка, а ни то и паче батюшки. Боярин-отец поначалу смотрел на то сквозь пальцы, дескать, молод ещё, разгуляется, разохотится. Но годы проходят, а сынок пуще прежнего к книжице да к молитовке прилепляется, а во двор широк к друзьям-молодцам для утех богатырских, али на почестен пир со товарищи бочёнок-другой бражки-веселушки испить да покуражиться, как водится промеж соколов, и носа казать забыл. Призвал тогда отец сына пред очи свои светлые да молвил слово ему тако: «Здрав ли ты собой, мой сынок един, ты наследничок да всех дел моих? Не напала ль на тебя злоба-хворь кака, боль-хворобушка, али пагуба?». И отвечивал сын тако: «Я здоров еси, свет мой батюшка, и ни злоба-хворь меня мучает, да ни пагуба не точит меня. А не весел я да не празден я не по телу суть молодецкому, не по здраву суть богатырскому, а по сердцу суть Христианскому. Коли мил я тебе, коли люб я тебе, коли дорог те я, господин мой отец, не зови ты меня гулять-бражничать, не гони ты меня в богатырску рать, отпусти ты меня от очей своих, от очей своих к очи Божии. Не мила-то мне жизнь молодецкая да не любя мне стать богатырская, не по мне государевы поприща, по душе мне лишь тишь монастырская». Так отвечивал Берёзов сын Берёзову отцу да пал на колени, склонив буйну голову для родительска благословения.

«Негоже сыну боярскому рясой двор мести, – сказал ему на то отец и, отвернувшись, пошёл прочь из горницы. Но у самых дверей остановился и добавил. – Ожениться-то тебе надобно, тогда можа дурь из башки долой. Ты готовь свою буйну голову – под венец пойдёшь, не под ножницы. Вот такой, сынок, тебе мой ответ, вот тако тебе моё благословение». И вышел прочь.

Что же было тут поделывать молодцу. Супротив батюшки идтить – лучше в каторгу, али буйну голову сложить от меча вражеска. Послушался молодой Берёзов отца-батюшку, смирил волю свою для воли отчей. Потому как воля отчая – воля Божья суть, а послушание да смирение – наипаче всех добродетелей наипервейшие. А путь-дорожку к себе Небесный Царь всякому Сам укажет, коли вера крепка.

– Ну а дальше, дальше-то что?

– Я таки вижу вам занимательно, молодой человек? И не байка моя вас так увлекла, а имеете вы тут свой сугубый интерес. И предмет его – Закудыкино. Только не смейте мне, пожалуйста, демонстрировать эту вашу манеру вставать в позу и спорить, не надо мне таки ничего говорить. Я, батенька мой, старик, и что это такое, когда глазки горят, как звезда Моисея, я уже очень хорошо знаю. Вы изволили похотеть? Пожалуйста! Как вам будет угодно, с превеликим моим к вам почтением. Только не говорите потом всем, что старый еврей вас не предупреждал. Предупреждал, и очень, очень даже, заметьте себе, предупреждал. Ваш интерес в наше глупое время весьма и весьма опасен, юноша. Спросите, у кого хотите, хоть даже у меня, вам всякий скажет. Но вы настаиваете? Так извольте, я таки продолжу. А вы, чем смотреть на меня, как те матросы, что заскочили в гости к моему дедушке, на мою же бабушку, лучше развесьте-таки ваши ушки и слушайте. Я продолжаю.

Всё-таки мой профессор оказался настоящим археологом, любящим свою работу, преданным своему призванию и могущим ради исторической правды подняться над всей нанесённой временем шелухой. Даже над собой. И снова, после непродолжительной паузы-раздумья потекла-полилась реченька неторопливого русского говора, былинного сказа, соединяющего времена, прокладывающего хрупкий мостик между было и есть, а также в далёкое, но неизбежное будущее.

Много времени, аль мало прошло с того самого разговора, а только молодой Берёзов возмужал крепко с тех пор. Русы кудри седина подёрнула, мягкий птенечий пушок вокруг рта обернулся густою шелковистою бородою, да в голосе его высоких ноток поубавилось, а вместо них зычнее и твёрже зазвучали басовые. Слово, данное самому себе, он крепко держал, никогда боле ни единым намёком не напомнил отцу о том своём прощении, о заветном своём желании. Хоча желание то со временем не пропало, не улетучилось, как детска блажь. Но напротив, ещё более усилилось, утвердилось, хоча и втайне от всех, особливо от родителя сваво. Годков двенадцать тому, как оженился он – девку же за себя взял дуже справную. И молода, и красива, и чиста, словно лебедь белая, и породы такой, что и Государю обиды не нанесёт – боярина Б-ского дочка единственна именем Настенька. Народились у них детушки – два мальчика-молодца двумя годками разница. Один Бориска – «ни дня без риска» (так и звали его за неуёмную энергию, ни минуты не мог усидеть на месте, оттого завсегда с синяками да ссадинами, да платице изорвано). Другой Ефремка – этот всё менял-торговал со сверстниками, то ль игрушку каку, то ли камушек редкий, самоцветный, то ли ножичек. А только ни одна вещь у него долго не задерживалась. Но и менял-то, надобно сказать, всё с наваром да с прибытком.

Старый боярин души не чаял во внуках, видел в них корень свой, продолжение себя самого, всех дел своих и начинаний, чего в сыне родном узреть так и не сподобил Господь. Бывало, распалются малыцы, раззадорят дружка дружку да деда-старика притомят чуток. А он возьмёт их, сорванцов эдаких, ручищами своими богатырскими, посадит на колени, по головкам их гладит и молвит: «Эх, дитятки мои родные, внучатки вы мои любимые, вот помру я, вам в Закудыкино-Руси править-хозяйничать, от врагов лютых землю эту обороняти да о богатстве-процветании её радети». А у самого слеза горька по щеке катится, из морщинки в мор-

цинку, как по бороздкам перетекают да в бороде густой хоронится. И чем шибче прилеплялся он сердцем своим к внукам, тем боле и боле таилась в душе воеводиной обида на сына родного, кровиночку.

Случилось как-то быти в тех местах прохожему одному, старику древнему, мног годов на свете пожившему, мног земель всяко-разных исходившему, мног чего в них повидававшему да познававшему. Всяк дом в Закудыкине принимал его, хлебом-солью за честь почитал попотчевать да о судьбе-судьбинушке порасспрашивать. Не всякому старец-прохожий говорил слово сокрытое, не со всяким правду-мудрость обговаривал, а от иных не токмо хлебом-солью побрезговал, да и о порог-то их ног своих не замарывал. Но зато в дому у Берёзова-сына погостить изволил аж три дни, чем и многих в Закудыкине в искус ввёл. Среди прочих-то зашёл к Берёзову-отцу, не прошёл-то стороной воеводин дом – хлеб-соль ел, брагу пил да нахваливал, за раденье по земле той даже кланялся.

Уходя ж, благодаря за угощение да пред образом святым знамень-крест кладя, обратился старец вдруг к воеводе сам, и сказал-то он ему таковы слова: «За твою за доброту справедливую, за любовь твою к земле, к человеку тож, за радение твое благовершее не отымет у тя Бог всех даров своих. Не отымет, пока жив ты да умножит ще, так что будешь умирать в благолепии. Но по смерти по твоей всё падёт во прах, не бывать уж лепоте в Закудыкине, оттого, что не пустил ты во цвете лет сваго сына послужить Богу нашему. Посреди-то той беды да промежду слёз ещё быти малой песне да радости, ещё счастьем быти тут да на краткий миг, когда сын-то твой спасёт Закудыкино. Но по нём уж не бывать белой радости, всё черным-черно на столетия. Да фамилии твоей усеченной быть на две буквы родных твоему сердцу суть». Так сказывал старец-прохожий боярину Берёзову, перекрестился на образ и исчез, токмо его и видали.

XI. Легка дорога попутчиками

– Граждане пассажиры, комфортабельный автобус до Ульянова Посада отправится от первого перрона через пятнадцать минут. Отъезжающим, просьба пройти на посадку. Оплата проезда у водителя автобуса. Счастливого пути, – неожиданно прогремел на всё здание автостанции безразлично-металлический голос репродуктора.

За разговором мы не заметили, как прошла ночь, и наступило утро нового дня.

– О! Это мой рейс, – встрепенулся рассказчик и начал лихорадочно собирать остатки скромного еврейского ужина. – Я прошу-таки прощения за неоконченную повесть, как-нибудь в другой раз. А сейчас, простите великодушно, мне пора.

– Спасибо вам! – помогал я ему, поскольку тоже принимал участие в трапезе. – И за ужин, и за интереснейшую беседу. Жаль, не дослушал до конца. Надо же, на самом интересном месте. Как обидно, – я горел желанием узнать продолжение этой весьма волнующей меня истории. – А, может, на следующем автобусе поедете?

– Молодой человек, следующий только вечером, а меня ждут. Дела, знаете ли.

Он уже всё собрал, подхватил свои немногочисленные пожитки и направился, было, к выходу, но приостановился.

– А вам я таки вот что скажу, и надеюсь на вашу..., – он поднёс указательный палец к губам и заговорил почти шёпотом. – Я и сам давно мечтаю посетить эту деревню. Ведь вы же таки туда, если не ошибаюсь? А я не ошибаюсь, потому что, знаете ли, стар и еврей. Только будьте осторожны, весьма и весьма, ваше намерение таки небезопасно. Это я вам говорю, а старый еврей, кое-как поживший и кое-что повидавший, немножко знает, что говорит.

Он снова направился к выходу... и снова остановился.

– Да, если у вас что-нибудь таки немножко получится, вот вам моя карточка. Свяжитесь со мной, я таки буду вам весьма и весьма признателен. И..., – он совсем понизил голос, так что

слов его почти не было слышно, – ... и, храни вас ваш русский Бог. Россия ведь – она и для меня Родина. Иначе, что бы меня тут держало?

Я проводил его взглядом и снова упал в нагретое за ночь кресло. Мне было грустно, и в то же время какая-то новая сила, новый импульс заиграли в крови, подгоняя и утверждая в моих намерениях.

– Граждане пассажиры, комфортабельный автобус до Первомайского отправится от второго перрона через пятнадцать минут. Отъезжающим, просьба пройти на посадку. Оплата проезда у водителя автобуса. Счастливого пути, – снова прогремел безразличный голос репродуктора, теперь уже для меня. Я встал и направился к выходу из гостеприимного здания автостанции навстречу своей цели.

Комфортабельным автобусом оказался древний, выдавший виды ПАЗик, возле которого уже собралась небольшая организованная толпа. Я занял место в хвосте людской вереницы и приготовился к томительному ожиданию. К моему удивлению очередь довольно быстро таяла, так что через каких-нибудь двадцать-тридцать секунд между мной и водителем, принимавшим оплату проезда, оставалось всего четыре человека. Тут я заметил, что пассажиры расплачивались не деньгами, а небольшими пластиковыми карточками на пример кредиток. Шофёр погружал их на мгновение в какой-то приборчик и возвращал владельцу, беспрепятственно проходившему в салон автобуса. Вся процедура занимала не более двух секунд. «Надо же, – подумал я, – в такой глухомани и кредитки за простую поездку в обычном автобусе. Или может это какие-нибудь проездные?». Пока я размышлял, подошла моя очередь.

– Сколько стоит билет до Первомайского? – спросил я у водителя.

– КГБ... – строго ответил тот, протягивая руку и глядя на меня в упор.

От этого слова стало почему-то немного не по себе. Даже представилось, что вот сейчас сзади, справа и слева от меня появятся как из-под земли две серых незаметных личности, и не видать мне как своих ушей ни комфортабельного ПАЗика, ни цели моего путешествия. Вся возможная будущность как-то вдруг поухля и перечеркнулась крупной чёрной клеткой. Я машинально оглянулся, и, не увидев подтверждения своих опасений, успокоился.

– Что? Простите, не понял?

– Чё не понял? КГБ давай, – повторил водитель, вглядываясь ещё пристальнее. – Или ты наликом?

– Да, пожалуйста, – обрадовался я разрешению вопроса. – Я приезжий, здесь впервые. Сколько стоит билет?

– Пятьдесят, – уже безразлично ответил водитель и отвернулся, подняв глаза к проплывающему где-то в небе облачку.

– Пятьдесят рублей? Так дорого на таком тарантасе?

– ИмперIALов! А если тебе не нравится автобус, так я никого не держу. Валяй вон... на бомбиле.... Понаехали тут.... Так ты будешь платить или нет? – водитель снова вернул мне полный негодования и презрения взгляд.

– Да, конечно. Пожалуйста, – и я протянул радушному водителю комфортабельного автобуса «красненькую» сторублёвку. – Хороший автобус. Я попутал. Извините, если обидел вас. Я не хотел.

– Да ладно. Чё уж там, – он медленно, как бы нехотя, с известной долей снисходительности снова поднял глаза на облачко, рассмотрел его внимательно и так же медленно перевёл взгляд на купюру.

– Эт чё? Деревянные? – водитель с сомнением и даже, как мне показалось, брезгливо смотрел на мою руку, в которой я держал сотенную. – Эх. Можно и рублями. И откуда вы только берётесь? – он вновь отвернулся, потеряв ко мне всякий интерес. – Две пятьсот.

– Что? Сколько?

– Две тысячи пятьсот рублей! – громко и членораздельно повторил он. – Ты едешь или нет, интеллигенция? Или плати, или отойди, не задерживай рейс!

Я в смущении отошёл. Таких денег у меня попросту не было. Две тысячи триста двадцать восемь рублей с мелочью – всё, что лежало в моём кармане. Да-а! Вот это конфуз! Этого я никак не ожидал! Что же мне делать?!

– Ну что, Робинзон, не берут в комфортабельный автобус? Я так и думал. Значит, это ты самый и есть.

Я обернулся на голос, показавшийся мне знакомым. Передо мной стояла улыбающаяся фигура в старых затёртых джинсах и выцветшей от времени футболке. Сверкающая на солнце лысина на мгновение ослепила и напомнила о ночной поездке по городу на скрипучем тарантасе.

– А, это вы? – узнал я таксиста и протянул ему руку для приветствия, как старому приятелю. Не знаю почему, но я рад был видеть его снова.

– Конечно я. Кому ж быть-то как не мне? Я уже с полчаса за тобой наблюдаю, всё жду, сядешь ты в автобус или нет. А раз не сел, стало быть, мой пассажир. Давай свою сумку, поехали. Мой «Мерседес» там, за углом, нас отсюда гоняют.

– Подождите, – остановил я его. – Но вы же говорили, что дорога там плохая, машина старая, сломаться может, застрять.

– Что? – обиделся он. – Да ты знаешь, что это за машина?! Это ж... паровоз!... вот такая машина! Я сам её сконструировал, сам собрал по винтику... Да она не только по бездорожью, по Луне проедет! Луноход! А ночью,... ночью это я так, ля-ля, – и он снова расплылся в улыбке. Извинялся, наверное, за давешнюю неправду.

– Постойте, – снова остановил я. – А чего же тогда сразу не поехали, столько времени потеряли?

– Э-э, гм... Ну, так нужно было.

– Кому нужно?

– Да не спрашивай ты меня, Робинзон! Кому? Зачем? Не знаю. А только нужно и всё.

– Но у меня, наверное, денег не хватит...

– Да ну брось ты, браток, разберёмся. Я, может, в этой поездке свою корысть имею. Так что считай себя простым попутчиком. Понял?

Я по-прежнему стоял в нерешительности. Как-то всё неожиданно и легко срослось. И что значит нужно? Кому нужно? Зачем? Странно всё это. Но с другой стороны, повези он меня сразу, ночью, я бы не повстречал того милого еврея-археолога и не услышал бы столь интересный рассказ про Закудыкино.

– Ну, поедем что ли? Автобус-то всё одно уже тю-тю.

И правда. Пока мы разговаривали, комфортабельный ПАЗик до Первомайского уехал, а следующего ждать теперь целый день, до вечера. К тому же не было никакой надежды на то, что к исходу дня рублёвая цена на билет упадёт до мало-мальски приемлемых размеров.

Вдруг на то самое место, от которого только что отошёл автобус, и где сейчас стояли мы, буквально влетела запыхавшаяся девица лет девятнадцати, не больше, видимо давно уже бежавшая и с трудом сумевшая затормозить. На её плече изнуряющей ношей висла и больно ударяла в бок при каждом шаге огромная, тяжёлая сумка.

– Автобус... до... Перво-майского... уже... ушёл? – буквально выдавила она из себя, жадно, как рыба у проруби глотая воздух и изо всех сил стараясь восстановить дыхание после долгого и, как оказалось, бессмысленного бега.

Вопрос этот не был адресован никому конкретно, а просто брошен в пространство, но поскольку рядом кроме нас никого не оказалось, то отвечать пришлось нам.

– Только-только ушёл-с, милая девушка. А что, опоздали-с? Может догнать-с, вернуть-с? Только прикажите-с, я мухой-с, только для Вас, – расшаркался таксист, видимо ещё тот ловелас.

– Я... вам... не милая... деву-шка... И оставьте... ваш... фамильярный... тон... для кого-нибудь... другого..., – она скинула сумку на землю и буквально рухнула на неё. – Обойдусь как-нибудь... без ваших... мух... -с.

Пока девушка восстанавливала силы и приводила в норму сбившееся дыхание, я, воспользовавшись моментом, невольно разглядывал её. Она действительно была очень привлекательна, мила и даже красива. Стройные ноги и приятной округлости бёдра под обтягивающими джинсами, узкая талия и высокая девичья грудь, колышущаяся под коротеньким свободным топилом, симпатичная головка с бирюзовыми слегка раскосыми глазами, чуть вздёрнутым носиком и правильно очерченным ртом, наконец, пышная копна непослушных белокурых волос притягивали к себе мой взгляд. Так что я, сам не замечая того, смотрел на неё, неотрывно. Наверное, я выглядел очень глупо и, должно быть, несколько даже нахально, потому что реакция её на моё рассматривание была соответствующей и не заставила себя ждать.

– Ну что уставился? – выпалила она раздражённо. – Теперь прилипнут, не отдерёшь.

– Простите, Бога ради, если я вас чем-то оскорбил, я вовсе не думал прилипнуть. Не подумайте чего-нибудь такого, но вы опоздали на автобус, а мы с приятелем как раз едем в Первомайское. Вот я и подумал...

Я не договорил, остановленный её взглядом, в котором угадывались и сомнение, и недоверие, весьма естественные в её положении, и в то же время маленькая, совсем крохотная, но так необходимая в минуты отчаяния надежда. Она встала с сумки, подошла ближе, всё время глядя глаза в глаза и пытаясь, видимо, разрешить вопрос, стоит ли мне доверять.

– Вы точно едете в Первомайское, или только что придумали?

– Нет-нет, уверяю вас, я не вру, мы точно едем в Первомайское... Вернее не совсем..., немного дальше..., но по пути. Это точно, точно так! Ах! Вы знаете,... знаете, я сам хотел ехать этим автобусом. Да, да! Это правда! Всю ночь прождал его вот на этой станции. А тут приятель подоспел и буквально снял меня с подножки, сказал, что отвезёт... Он сам туда едет по какой-то своей надобности. Я, право, не знаю по какой, но... Ведь ты же сам сказал, что имеешь интерес в этой поездке, ведь правда? Ну, скажи, ведь правда? Правда? Чего же ты молчишь?

Не знаю, что со мной вдруг случилось, откуда взялось столько слов, и почему я непременно захотел, чтобы эта девушка мне поверила, отчего это стало для меня так важно, так необходимо...?

– Да, правда. Я сказал, – подтвердил, наконец-то, таксист, внимательно и в высшей степени серьёзно глядя то на меня, то на неё.

Девушка неожиданно для нас обоих вдруг расхохоталась чистым детским смехом, весёлым и беззаботным, без тени оскорбляющего цинизма и уничижающей надменности, без какого бы то ни было подтекста и тайного смысла, как смеются, когда весело или просто смешно.

– Так чего же мы стоим? – проговорила она. – Поехали! Или ещё кого ждём?

Теперь я тоже захохотал. Смеясь, схватил её сумку, и мы вместе побежали за угол автостанции, где должна была стоять машина. Вслед за нами, таща мою совершенно забытую поклажу, плёлся задумчивый таксист. О чём он размышлял? Какие мысли привели его в столь неестественное состояние серьёзности? Я тогда не знал. Да и не мог, не хотел знать. В ту минуту я был рад новому знакомству – первому в моей жизни такого рода знакомству.

Мы ехали уже около часа. Машина и вправду вела себя весьма прилично. Мотор певуче гудел, набрав необходимые обороты, и плавно, без рывков и заскоков, мчал нас по довольно ровной, недавно отремонтированной дороге, как катер по зеркальной глади вод. Наша попут-

чица, утомлённая пробежкой с тяжёлой сумкой, удобно устроилась на заднем диване и заснула, убаюкиваемая мягким покачиванием на надёжных рессорах автомобиля. Таксист, молча, рулил, что-то снова обдумывая в своей лысой голове, я, наслаждаясь скоростью, любовался красотой проносящегося за окном пейзажа.

И было чем. Что может горожанин, всю свою жизнь проживший в серой, пыльной, загазованной, отвратительной Москве, знать о красоте? Откуда ему почерпнуть это знание? Из окна навороченного офиса, в котором он проводит большую часть своего времени? Или из затянутого серо-бурой пеленой изредка мытого окошка своей двухкомнатной хрущобы? Может, во время вечерних прогулок по городским скверам и паркам, среди гадящих на каждом шагу дорожных породистых собак и выгуливающих их сограждан, таких же, как и он ценителей прекрасного, но никогда не убирающих за своими питомцами? Может, во время бесшабашных пикников и прочих коллективных вылазок на «природу», называемых почему-то сладкозвучным французским словом ПЛЕНЭР, но неизменно в окружении битого стекла, пустых консервных банок, рваных полиэтиленовых пакетов и чёрных проплешин костровищ? Нет, всё это не то и не о том. Не может он этого знать, потому что не видел. Не охватил очарованным взором огромного, неограниченного никакими рубежами простора российской глубинки. Которой сотни, тысячи, может, миллионы лет. И которая за последние пару тысячелетий мало чем изменилась. Практически ничем. Кажется, вот сейчас из-за того раскидистого дуба выедет былинный богатырь на могучем коне, в кованой, блестящей на солнце кольчуге, в остроконечном шлеме на голове, с копьём и щитом в руках, которые наш сегодняшний спортсмен-профессионал, если и оторвёт от земли разок-другой, то непременно пукнет, бросит и бухнется отдыхать. А вон из-за того перелесочка вот-вот вылетит улюлюкающая и клокочущая орда скуластых, раскосых кочевников. Пронесётся птицей-стервятником по бескрайнему полю, ощетинится как хищный зверь копытами да саблями, схлестнётся грудь о грудь с витязем нашим, разобьётся об него в мелкие брызги, как волна морская об утёс прибрежный да отхлынет восwoяси, несолоно хлебавши. А он стоял доселе, и стоять будет. И никакая напасть не сдвинет его с места, не сломит, не обратит в бегство. Потому как за ним неисчерпаемая сила необъятной земли русской, насаженная здесь и утверждённая неопишeмым, неохватным, беспредельным величием Бога Христианского, Бога Православного, истинно Истинного, безослабно Могучего, Едино-Единственного, так что кроме Него и нет ничего. Всё только Он.

– Долго ещё ехать? – спросил я водителя, отвлекаясь от своих мыслей.

– Не бойсь, Робинзон, к обеду доедем до Первомайского, а там, через речку, и рукой подать.

– А через речку как? Что там, мост, или паром какой?

– Раньше паром был, потом мост понтонный наладили. А сейчас и не знаю даже, может ни моста, ни парома.

– Как это? Сгорел что ли? Как же мы переправимся?

– Не бойсь, Робинзон, переправимся. Река не преграда, преграда в другом.

– В чём же?

– Да как тебе сказать? Вот приедем, увидишь.

Минут десять мы снова молчали.

– Послушай, всё хочу спросить. Там, на автостанции говорили, ... э-э... люди кредитками что ли расплачивались? И водитель про КГБ чего-то, ... Что он имел в виду? Что за ерунда?

– Да ты что, с Луны свалился, или вчера родился? Вроде из самой Москвы.

– Да я это... ну, как тебе сказать... в общем, некоторое время отсутствовал.

– Болел что ли?

– Да, ... Наверное, ... Можно сказать и так...

– Понятно. Похоже.

– Что, похоже? Да объясни ты толком.

– Попробую объяснить, только приготовься к самому неожиданному.
– Что такое? Что тут у вас за тайны мадридского двора?
– Да не у нас.... Погоди.... Вот ты думаешь, ты где?
– Как это где? В машине твоей, где ж ещё.
– Это понятно. В каком государстве, я спрашиваю?
– Как это, в каком государстве? В России конечно.
– Да? А вот и нет. России, как государства, больше не существует. Кончилась она, приостановилась до времени, схоронилась под своими обломками ещё сто лет назад. Или ты не слыхал об этом?

– Ты имеешь в виду семнадцатый год?

Водитель молчал, будто не услышав вопроса. Но скоро заговорил вновь.

– Россия – давно уж провинция. Хоть и центральная, но это не мешает ей быть отсталой, заброшенной и загаженной окраиной. Да вообще её уже практически не осталось совсем. И дело тут не в большевистском перевороте, он только начало всему.

– Погоди. Ты мне про Союз-то не рассказывай. Я ведь не так долго... это... ну, отсутствовал. Союз-то рухнул, Россия вновь возродилась.

– Эх... Ты видимо и впрямь больной. Да какая ж то Россия? От России-то и нет ничего. Флаг торговый, гимн совковый, внизу бардак, вверх ду..., прости, Господи. Одним словом, ЭРЭФИЯ. Эх, пропала Россия. Совсем пропала.

– Да что ты всё – пропала, пропала? Ты объясни, почему пропала? Куда пропала?

– Чего тут объяснять? Вон, возьми в бардачке.

Я открыл крышку на торпеде и достал небольшой, в локоть длиной, но довольно увесистый цилиндр, аккуратно завернутый в лоскут старой, выцветшей материи.

– Что это? – спросил я таксиста.

– Да ты разверни, разверни. Сам всё увидишь.

Я повиновался. И когда материя, казалось, готовая вот-вот рассыпаться от ветхости, была аккуратно развернута и бережно расстелена на моих коленях, в руках у меня оказался ещё более древний свиток плотного тяжёлого пергамента, пожелтевшего от времени, с потрёпанными краями и углами. От него веяло тайной, какой-то загадочной патриархальностью, недвусмысленным намёком на мудрость и может быть даже святость, в глубины которой меня приглашали проникнуть. И я проник бы даже без приглашения, потому что почувствовал, узнал каким-то подсознательным веданием, что вот оно открывается то, зачем я сюда приехал, ради чего протопал сотни сотен вёрст от родного дома.

– Что это? – повторил я вопрос. Даже не я, а какая-то врождённая застенчивость, часто граничащая с нерешительностью. Хотя руки дрожали от нестерпимого желания поскорее окунуться в тайну, прямо вот сейчас, сию минуту, не откладывая проникновение ни на миг.

– Вот заладил – что это, что это... Ты Робинзон, в конце концов, или Герцен? – мой таксист заметно нервничал и даже, как мне показалось, начинал раздражаться.

– Герцен написал «Что делать?». И не Герцен вовсе, а Чернышевский, – почему-то парировал я.

– Отдай сюда! – он нервно протянул руку за свитком, но я успел убрать его подальше и прикрыть руками на груди.

– Тогда читай! – совсем уже в голос, почти крикнул он.

Я осторожно, как неимоверную святыню развернул пергамент и начал читать.

ХII. Гряди и виждь

И видех, егда отверзе Агнец едину от седми печатей, и слышах единого от четырех животных глаголюща якоже глас громный: гряди и виждь.

И видех, и се конь бел, и седяй на нем имеяше лук: и дан бысть ему венец, и изыде побеждаяй, и да победит.⁸

И развернулося Царство великое от моря и до моря, и не было у людей Царств, подобных этому. И вышел человек бел, и человек тот боялся Господа. И поставлен был человек бел над человеци, и поставлен он Богом, и был над ним Бог и Закон Его. И была у человека того правда в руках его, и дела его были правы, и даже в неправде были они правы. И люди, что были под человеком тем, боялись человека того и почитали его, и любили его, и поклонилися ему, потому над ним был Бог, и был он от Бога. И всяк знал правду его и силу его, и принимал власть его над собою, потому, правда его, и сила его, и власть его от Бога суть. И всяк знал то. Было то великое белое Царство на многие веки. И не было Царств подобных ему и не будет боле вовек.

И егда отверзе печать вторую, слышах второе животное глаголющее: гряди и виждь.

И изыде другой конь рыж: и седящу на нем дано бысть взяти мир от земли и да убьет друг друга: и дан бысть ему меч великий.⁹

И пришел человек, и се человек рыж. И сказал он в безумии своем: Несть Бог! И взял он человека бела и убил его, и жену его, и чад его, и домашних его и мног верних его. Иные же вернии рассеялися, а иные затаилися до времени. И поставлен был человек рыж над человеци, и не Богом поставлен был он, но человеками. И не было в руках его правды, и не были дела его правы, и даже в правде они не были правы. Потому левы дела его. И люди, ставиши под человеком тем, убоялися человека того: и почитали его, и поклонялися ему, но не любили его, потому был он не от Бога. И не было над ним Бога и Закона Его, потому сказал он: Несть Бог! И всяк знал силу его и приял власть его над собою, потому власть его в силе его. И всяк знал то. А кто не приял власти его над собою, но приял власть Бога над собою и над всеми человеци, и над тем человеком тож, тот умерщвлен был мечем его и огнем его. Потому власть его и сила его были огонь и меч. И се стало царство рыже, потому погрузилося в огне и крови. И было то на многие десятилетия.

И егда отверзе третью печать, слышах третье животное глаголющее: гряди и виждь.

И видех, и се конь ворон, и седяй на нем имеяше мерило в руце своей.

И слышах глас посреде четырех животных глаголющий: мера пшеницы за динарь, и три меры ячменя за динарь: и елея и вина не вреди.¹⁰

И пришел человек, и се человек сед. И не от Бога он пришел, но от человека рыжса. И был сам он рыж, но попаляяй ся огнем стал сед, а был рыж. И поставлен был человек сед над человеци, и не Богом поставлен был он, но человеками. И не было в руках его правды, и не было силы, потому сила в правде, а правда у Бога. А с ним не было Бога, потому не от Бога он пришел. И налетела саранча числом великим, продающая и покупающая. И стало вся продающе ся и покупающе ся, потому саранча та служиша не Богу, но мамоне. И черно стало в царстве, потому саранча та была цветом черна и числом тма тем. И ничто не стало быть, чтоб стало быть, а стало продать, чтоб стало быть. И победила саранча человека седа, потому не было в руках его силы. И возлюбил человек сед саранчу, потому не было в руках его правды. Потому не от Бога он. И птицы небесные не клевали саранчу ту, потому сами были черны и суть саранча. И хотя рядихся в одежды небесные и пели песни сладкозвучные, и селилися

⁸ Откровение Иоанна Богослова (6;1,2)

⁹ Откровение Иоанна Богослова (6;3,4)

¹⁰ Откровение Иоанна Богослова (6;5,6)

в дому Господнем, а вся суть саранча. И люди, что стали под человеком седым, не боялися его, и не почитали его, и не поклонялися ему. Но любили его, потому был он рыж, но пополаяяся огнем стал сед. И се стало царство черным чернo на многие годы.

И егда отверзе четверту печать, слышах глас четвертаго животна глаголющий: гряди и виждь.

И видех, и се конь блед, и сидящий на нем, имя ему смерть: и ад идяше в след его: и дана бысть ему область на четвертой части земли убить оружием и голодом и смертию, и зверми земными.¹¹

– Что это? – в третий раз задал я свой вопрос, прервав чтение.

– Ну, ты и зануда, Робинзон, – сказал водитель уже без раздражения, но с доброй, не лишённой самодовольства улыбкой на лице. – Сам не видишь что ли? Это древний манускрипт, очень древний. Уж я не знаю, сколько точно ему лет, но утверждают, что он принадлежит перу самого Ивана Грозного. Царь был человеком весьма образованным, тонко разбирающимся в словесности. Его библиотека насчитывала несколько сотен, а по другим данным более тысячи томов древнейших книг. Чего в ней только не было: сто сорок два тома «Римской истории от основания города» знаменитого историка Тита Ливия, написанной две тысячи лет назад! Двенадцать столь же древних книг «Истории» Тацита! Рукописи «Илиады» и «Одиссеи»! Да-да, ты не ослышался, именно рукописи, которым уже более трёх тысяч лет! Причём – хорошо сидишь? – подписаны они не Гомером, а неким Геометром Гипофригийским! Кроме того, библиотека содержала труды Аристотеля, Платона, Сократа... Специалисты утверждают, что почти все эти книги сохранились в единственном экземпляре и только в Библиотеке Грозного. Это еще что?! Посмотри-ка вот на это! Возьми там, в бардачке ещё свиток, – видя мой неподдельный интерес и даже восторг, водила решил меня ещё «подогреть». – Это сказание «Откуда есть пошла земля Русская». Так вот, его автор – знаменитый византийский богослов и историк Василий Великий на основании неопровержимых фактов утверждает, что мы и есть те самые этруски, которые две с половиной тысячи лет назад жили на территории Италии, а потом вдруг бесследно «испарились». А хочешь еще адреналинчику? – и он весь аж заискрился удовольствием от произведённого им эффекта. – Ты хорошо помнишь, как начинается «Слово о полку Игореве»?

Я напряг свои мозги и не без труда выдавил: «Не лепо ли ны бяшете, братие...».

– А теперь погляди сюда, – таксист, как фокусник, извлек откуда-то богато украшенную камнями книгу. На титульном листе значилось: «Слово о полку Игореве, Игоря сына Святослава, внука Ольгова». Но я изумился другому: текст книги был совершенно иным, незнакомым.

– Так что ж получается, Алексей Мусин-Пушкин, опубликовавший в 1800 г. «Слово», всё сам сочинил?! – недоумённо пролепетал я.

– Дай сюда. Испортишь, – он забрал у меня фолиант, и пока я хлопал глазами, ничего не соображая от неожиданности, книга исчезла так же загадочно, как и появилась, где-то в тайниках его «лунохода».

– Откуда всё это у тебя? – я никак не мог придти в себя от того действия, которое произвело на меня всё происходящее. – Ты отыскал Библиотеку Ивана Грозного?!

– Нет.... Да не в этом дело... – мой водитель, казалось, был несколько раздосадован прерыванием его «цыганочки с выходом». – Не то ценно, откуда, а то, что у тебя в руках, что там написано.

¹¹ Откровение Иоанна Богослова (6;7,8)

– Как же? – возразил я. – А вдруг ты музей обокрал? Или, и того хуже, вдруг это всё фальшивки?

– Ха! Фальшивки? Да ты приглядишься, Робинзон, это же рука самого Иоанна Грозного!

Он многозначительно поднял указательный палец вверх, как бы заостряя моё внимание на бесспорном и неопровержимом факте. Будто я знаю руку почившего почти полтысячелетия назад Государя как свою собственную.

– Ну, это ещё доказать надо, – не сдавался я.

– Всем известно, – начал своё доказательство таксист, – что Царь Иван Грозный был очень верующим и даже набожным человеком...

– Да? И что это доказывает?

– Да погоди ты! Не перебивай! Из многих источников видно, что Царь занимался толкованием Библии и изучением многочисленных пророчеств. То, что ты держишь теперь в руках, не что иное, как предсказание Государя о судьбе России! Вернее толкование Царём Апокалипсиса, в котором он увидел будущее. Для него будущее, а для нас уже свершившееся прошлое и настоящее. В том, что это строки Апокалипсиса, надеюсь, сомнений нет?

– Нет. Тут вот действительно из книги «Откровений Иоанна Богослова». Но приписки...

– Ну вот! Видишь! А ты сомневался! – он самодовольно откинулся на спинку своего кресла, удовлетворённый видимо тем, что припёр меня к стенке неопровержимостью улик.

– Но...

– Смотри, здесь же чёрным по белому написано: *«И видех, и се конь бел, и седяй на нем имеяше лук: и дан бысть ему венец, и изыде побеждаяй, и да победит»*. А толкование уже Государя. Действительно, с установлением Московского Царства, с воцарением в нём Православного Царя Россия не только сбросила с себя вековое иго монгольское, но и расцвела, являя собой миру великую державу, побеждающую врагов своих и утверждающую в мире торжество Православной веры. *«И изыде побеждаяй»*! Вот!

– Ты, наверное, позабыл о смутном времени, о пресечении династии Рюриковичей, о польско-литовской интервенции, о Лжедмитрии...

– Ну и дали им! Да так дали, что более ста лет никто в Россию и носа совать не смел! А вместо Рюриковичей на трон государев был призван новый род помазанников Божьих – великая династия Романовых. Именно с ними Россия пережила времена своего действительного величия и авторитета в мире. *«И седяй на нем имеяше лук: и дан бысть ему венец, и изыде побеждаяй»*!

– Ну, хорошо, – согласился я. – А дальше...

– А дальше вот что: *«И изыде другой конь рыж: и сидящу на нем дано бысть взяти мир от земли и да убьет друг друга: и дан бысть ему меч великий»*. Как Царя скинули, и начались в России неопишущиеся беды. Гражданская война, голод, разруха, террор, репрессии, скольких людей уничтожили! И заметь, лучших представителей нации, в то время как наверх всплыло всё ... – бездельники, пьяницы, горлопаны. Эх. Вытравливание в народе веры, совести и чести, трудолюбия и таланта – всего того, чем издревле славился народ русский. И всё это на десятилетия. *«И дан бысть ему меч великий»*!

– Да. Тут я с тобой, пожалуй, соглашусь. Больше той беды, что обрушила на Россию власть красненькая, и представить себе трудно.

– Трудно?! А тут и представлять нечего. Дальше-то и того хуже. *«И видех, и се конь ворон, и седяй на нем имеяше мерило в руке своей»*. Всё покупается, всё продаётся! Всё! Ну, ... ВСЁ! Удивительно! Просто поразительно, как за какие-то считанные годы народ сумел настолько... оскотиниться! Проституция и бандитизм из позорных и презираемых веками вдруг стали одними из самых вожделенных занятий для молодёжи! Воровство и мздоимство вдруг обернулось умением жить. Всё деньги, всё за деньги, одни только деньги! И ненависть. Страшная, неопишущая, непонятно откуда взявшаяся ненависть друг к другу вчерашних ещё

братьев. А вместо Церкви Божьей – блудница ряженная, говорящая слова правильные, и под слова эти продающая Христа всем кому не лень, кто больше заплатит. Кто вообще хоть что-нибудь заплатит! Расцвела, поднялась бурным тернием мерзость запустения. А власти на то наср... – он опасливо оглянулся на спящую нашу попутчицу и продолжил уже сдержаннее, – наплевать на всё этой власти. Хоть и не лезла она в дела церковные..., а надо бы, должно бы шугануть их от себя. А этим того только и нужно, сами примазались к кормушке, прилипли как банный лист к ж... *«И еля и вина не вреди»!*

– Что-то разошёлся ты уж больно. За дорогой следи, руль не вырони, – всерьёз забеспокоился я из-за переменившегося вдруг настроения водителя. – Тема конечно не шуточная, не из лёгких, но хочется всё-таки доехать.

Какое-то время мы оба молчали. Я снова погрузился в разглядывание пейзажа за окном автомобиля, но разговор никак не отпускал меня. Я вновь развернул пергамент и стал искать то место в тексте, на котором прервал чтение.

– *«И видех, и се конь блед, и сидящий на нем, имя ему смерть: и ад идяше в след его...»*, – сквозь чтение услышал я голос водителя, удивительно точно угадавшего то место, на которое упал мой взгляд. Может, он читал мои мысли?

– И что ты этим хочешь сказать? – спросил я.

– А что тут говорить? Посмотри вокруг, если ты ещё не всё понял. У тебя водила комфортабельного автобуса что спросил, когда ты пытался билет купить?

– Он спросил.... Он сказал.... КГБ, вроде....

– А что это, ты знаешь?

– Честно говоря, я не совсем понял.... Хотел спросить у тебя....

– Карта Гражданского Банка, сокращённо КГБ, – произнёс он членораздельно, как бы смакуя каждое слово. – Карточка такая, мааахонькая, но через неё доступ ко всей индивидуальной информации о человеке, включая его доходы и состояние счетов. Своего рода полное досье. Удобно и выгодно. Все бесчисленные бумажки вплоть до рецепта на лекарство от насморка, всё в одной маленькой карточке. Красота! Деньги в принципе больше не нужны. Империялы в виде монет – просто сувенир, нумизматическая ценность. Ну, конечно же, всё добровольно, без принуждения. Не хочешь КГБ – не надо, расплачивайся империялами. Но ведь неудобно таскать в кармане груды металла, да ещё кучу всяких бумаг. К тому же человек без КГБ подозрителен. А вдруг он террорист? Бесконечные проверки где угодно, хоть в магазине, хоть в прачечной, пока докажешь, что ты не верблюд, вспотеешь. Рубли, как и другие национальные валюты, тоже пока не выведены из обращения, но курс – сам видал. И что важно – удобно следить за перемещением гражданина: в автобус сесть, в аптеке лекарства купить, штраф оплатить – и все кому надо знают, где ты и чем занимаешься. И заметь, безо всякой милиции-полиции. Помнишь поборы ментов? Так вот теперь все довольны, сами себя штрафуют. И самое главное – КГБ уже отстой, вчерашний день, провинция типа местной дыры. Лучшие московские умы уже обеспокоились ещё большим удобством для дорогих сограждан. А вдруг почтенный россиянин потеряет карточку, или украдут? Помнишь, сколько волокиты было с восстановлением паспорта или водительских прав? А тут все документы, все сведения о человеке! Поди, восстанови, запыхаешься. Не бойсь. Благотетели уже подумали о нас – разработали манююхонький чип и предлагают вживлять его прямо в правую руку, чтоб не потерять. Чуешь, чем запахло? Серой.

– Я что-то не понимаю ничего. Ты это сейчас о чём говоришь? – я действительно ничего не соображал, никак не мог вникнуть в суть услышанного. Мне казалось, что мой новый приятель цитирует сейчас какой-то фантастический кинофильм, имеющий к реальности весьма косвенное отношение.

Некоторое время мы оба молчали. Уж не знаю, что он там обдумывал в своей лысой голове, может, вспоминал продолжение, а может, выдумывал на ходу байку позаковыристей.

Только любопытство раздирало меня на части, и я невольно вновь раскрыл свиток в надежде найти в нём хоть какое-то объяснение. И как только мне удалось внедриться взглядом в хитросплетения буковок на пергаменте, в салоне автомобиля снова зазвучал голос таксиста, будто Левитана в страшные дни июня-июля сорок первого года.

– И пришел человек, и се человек блед. И не от Бога пришел он, и не от человеци, но сам пришел. И не было в руках его ни правды, ни закона, потому не от Бога он пришел, не от человеци. И стал человек блед над человеци. Сам стал. И сказал человек блед: «Аз есмь!» И взял он хлеб от саранчи и дал человекам. И был хлеб тот горек, но стал сладок, потому мног бо есть и дан туне. И саранча убояшася человека того, служила ему, а котора не служила ему, умерщвлена была. И убоялися люди человека того, потому убил он саранчи часть, не хотящу служити ему. И поклонилися ему, и воспевали его, и возлюбили его, потому дал им хлеб от саранчи туне. А суть вернии, что рассеялися и затаилися до времени, а тако же человеци, не хотящи ясти хлеб от саранчи, но хотящи ясти хлеб от Господа, не возлюбили его, и не воспевали его, и не поклонялися ему. Вышли они тогда и сказали человекам всем: «Се сатана!». Они же им отвечали: «Сей дал хлеб нам туне». Потому были сыты. И сказали тогда птицам небесным тож: «Се сатана!». Те же отвечали им: «Любая власть от Бога суть». Потому сами были суть саранча. И сказали тогда человеку бледну: «Изыди отсель, потому ты есмь и рыж, и сед, но не бел. И сам саранча, и сын саранчи, и имя тебе сатана!». И повелел он убить их. И били их и саранча, и человецы, что восхотели ясти хлеб от саранчи, и птицы небесные, что сами суть саранча. И убили их оружием и голодом и смертию, и зверьми земными, потому мало их ще было. Саранча же, что рядилася в птицы небесные воспевала осанну человеку бледну и проклинала человек, что стали супротив его. И было тако на четвертой части земли.

– Что это? – снова повторил я свой дурацкий вопрос.

– ...

– Откуда это у тебя?

– Послушай, Робинзон, не спрашивай ты у меня. Что это? Откуда это? Всё равно, если скажу, не поверишь. Ты лучше в суть вникай, приедем уж скоро.

– А может, ты всё это сам сочинил, а?

– Ага. Сам. Да я словами такими отродясь не пользовался. Нашёл тоже писателя. Тебе это. Стало быть, теперь твоё.

– Мне? Зачем?

– Не знаю, не знаю. Только велено так.

– Велено? Кем велено?

– Робинзон, прошу тебя, не пытай ты меня. Я и сам пока нищий духом. Тоже понять хочу... потому и еду с тобой. Только знаешь что, человек тот – очень большой человек, я таких и не видывал сроду.

– Какой человек?

– Ну тот, что велел тебе этот свиток передать.

– Мне? Почему мне? Ты уверен, что мне?

– До конца не уверен, но думаю.... Я ж с самого начала к тебе всё присматриваюсь..., по всему выходит, что ты. Ошибка не исключена, но маловероятна.

На этот раз задуматься пришлось мне. Я мало что понимал из смысла сказанного, но мои собственные мысли, мой интерес что ли, цель моего путешествия, да и сам этот таксист, неожиданно превратившийся для меня из просто водителя в попутчика – всё это разом, смешавшись, перемешавшись, соединившись в один единый клубок фактов, подсказывало мне, что он прав.

– Да, и ещё велено передать на словах – «Роман должен быть написан».

Я не стал его спрашивать, о каком романе идёт речь, почему он непременно должен быть написан, и при чём тут вообще я? Мой попутчик, по всей видимости, и сам знал мало. Что мог – сказал, а если что и утаил, то скажет непременно. Дай срок.

Мы ехали молча. Мотор певуче гудел, шины колёс, тихо шурша, утюжили нагретый солнцем асфальт, а за стёклами всё так же проносился мимо былинно-сказочный пейзаж российской глубинки, отменяющий время, помогающий забыться, перенестись из сегодняшнего, реального небытия в дела давно минувших дней, в преданья старины глубокой. Казалось, вот сейчас расступятся вековые сосны-стражи и явят неутомимому страннику сияющие девственной белизной стены храма-птицы со сверкающими золотом крестами на маковках. Впустят его, сольют воедино с хранимой ими вековой мудростью, верой, правдой, защитят, оградят своим непреступным величием от бледного общечеловеческого завтра и отпустят с миром, которому никогда уже не будет конца.

– Эх! Пропала Россия... Да что Россия, всё пропало! Я из Москвы-то сам сбежал, там без КГБ никак. А здесь пока можно как-нито. Бомблю вот, там империальчики, там рублики, даже долларами не брезгую, всё как-то кручусь. Но и тут скоро прижмут, уже прижимают. Не жизнь, а А-а! – и он махнул рукой.

«Нет. Не прав ты, мой горемычный попутчик, – хотелось мне сказать ему, как-то успокоить, придать веры в завтра. – Не пропала Россия. Быть ещё Белому Царству, гарцевать статному белому жеребцу с венценосным всадником, *«имеяше лук»*. Плохо читал ты книгу Откровений Иоанна Богослова. Не случайно Боговидец вывел рукою своею мудрое предвидение – *«и изыде побеждая, и да победит»*».

– А я тебе так скажу, Робинзон, уж как красных не черни, а при них лучше было. Они хоть и церкви разрушали, людей губили, но ведь во имя какой-то своей идеи. Скверной, дрянной идеи, надо сказать, но все-таки кто-то искренне в неё верил и ей служил. Строил, пусть на костях, но своё глупое светлое будущее. А у этих, нынешних – ничего, понимаешь, НИЧЕГО! Только деньги! Деньги и власть! И самодовольство великое, неистощимое – *«Аз есмь!»*. Если от красных кровью за версту разило, то от этих – тухлятиной и мертвечиной. Те убивали своих явных, а больше мнимых врагов, эти же уничтожают целый народ, великий народ, с его культурой, талантом, корнями.... Ведь жизнь в страхе, «одобрямс» из-под палки – скотское занятие, это правда. Но, тем не менее, имеет точку накаливания, некий предел терпения, а значит и возможность выхода. В то время как добровольное, сытое скотство... Нет, что ни говори, при красненьких как-то лучше было – при них я вырос, в футбол с пацанами гонял во дворе, учился, девчонку впервые поцеловал,... Работа была, стабильность какая-то. Помню...

– Да что вы говорите такое? Как вы можете? Да вы,... вы,... я не знаю,... остановите машину немедленно, я выйду, – неожиданно раздался возмущённый голос сзади.

– Что вы? Что случилось? Что с вами? – пытался я успокоить. Но не тут-то было.

– Я говорю, остановите машину, я не поеду с вами,... с такими.... Остановите немедленно,... я,... я не знаю, что сейчас сделаю,... я сейчас выпрыгну, если не остановите...

Пришлось остановить. Наша разъярённая попутчица выскочила из машины, и побежала по обочине дороги. Мы вышли вслед за ней.

– Девушка... уважаемая... не знаю вашего имени, – поспешил я вдогонку, пытаюсь выяснить, что стряслось. – Какая муха вас укусила? Ехали себе, ехали и вдруг...

– Муха?! Да как вы можете? Эти нынешние – негодяи, подлецы, уроды, каких свет не видел, но и коммунисты ваши ничем не лучше! Понимаете, НИЧЕМ! Как вы можете вообще сравнивать и противопоставлять? Вы знаете,... знаете, что они,... это же одно и то же, то же самое... Вы ничего не знаете или всё забыли?! Да это же только начало, прелюдия к тому, что происходит сегодня! Вы знаете, что они делали, коммунисты ваши? Вы ничего не хотите знать.... Вы такие же, как и они! Вы...

И она разрыдалась на моём плече.

ХIII. Ловись, рыбка, большая и маленькая

(Лирическое отступление N2)

– Феликс Эдмундович, батенька, как по-вашему, каясь тепей на муху клюёт, или на чей-вячка?

Немолодой, невысокий, можно даже сказать маленький, изрядно плешивенький человек в реденьких усиках и бородке клинышком, в поношенном, но строгом чёрном костюме и белой накрахмаленной сорочке с синим галстуком в белый горошек восседал на огромном кожаном кресле кремлёвского кабинета, склонившись над обширной – во весь стол – картой Российской Империи, сплошь изрисованной красными и синими стрелками, внимательно изучая её.

– Я тут пьиглядел одно чудненькое озейцо. И подумал, а не махнуть ли нам с вами на ибалку? Как вы полагаете, батенька?

Высокий, статный, красивый, ухоженный, в новом генеральском френче без погон, в новых же начищенных до блеска сапогах, с великолепной благородной выправкой человек с аккуратно постриженной и щегольски уложенной на пробор головой, но с бородкой таки клинышком стоял рядом и искал, что ответить.

– Владимир Ильич, вы же знаете, я не рыбац.

– Зья, батенька, зья. Чейтовски увлекательное мейопьяитие. А как вы полагаете, Феликс Эдмундович, уклею лучше бьять на спиннинг или на бьедень?

– Увольте, Владимир Ильич, я предпочитаю ловить рыбу покрупней, посерьёзней. Тут вот опять эсеры голову поднимают, так я думаю...

– Да-а? А может, динамитчиком шаяхнем?

– Динамитом? Не думаю. Динамитом пол-Москвы разнести можно. Тут нужна игра аккуратная, осторожная – потихонечку сети умело расставить и...

– Сети говоите, батенька? Въядли, Феликс Эдмундович, въядли. Уклею сетями не взять, уклею иба хитьяя, скользкая. Это вам, батенька мой, не шука.

– Ну что вы, Владимир Ильич, тут, знаете ли, дело техники. Если умело сети расставить, то не только шуку, но и акулу взять можно.

– Не думаю, не думаю, Феликс Эдмундович, для акулы озейцо маловато, не тот язмах. Вот если бы тьяуллей где-нибудь экспьяпьяийёвать да махнуть на Балтику, или, скажем, в Кьим...

– Ну, Владимир Ильич, с таким размахом не только акул, кита – самого барона нашего с вами Врангеля поймать можно. Затем собрать всех вместе, поставить к стенке да из максима...

– Вы полагаете, батенька? А чего ж, можно и Гойкого с собой взять. Он, пьявда, пьиве-едлив слишком, всё, знаете ли, по осетьянке тоскует. Волгай, одно слово.

Тут диалог двух государственных деятелей прервал осторожный стук в дверь.

– Да-да, – проговорил маленький и поднял глаза от карты.

Дверь раскрылась, и в кабинет вошёл кучерявый еврейчик в маленьких кругленьких очёчках и с внушительных размеров маузером на поясе.

– А-а! Яша! Заходи, даягой, заходи. Как дела твои? Мацу пьислали? Вы знаете, Феликс Эдмундович, бычок так шикайно на мацу клюёт, ничего подлец знать не хочет, ни ветчины, ни сала. А на мацу, за милую душу, как к себе домой. Послушай, Яша, а бычок – не ваша национальная иба?

– Не знаю, Владимир Ильич. Вряд ли. Я не специалист.

– Да? А кто у нас специалист по национальным вопьясам? Сталин? Этот Дейжимойда? Ну, хоёшо. Спьявлюсь у Сталина. Ты чего, Яша, что хотел-то?

– Владимир Ильич, тут к Вам мужики пришли, просят принять.

– Мужики? Какие ещё мужики? Ибаки?

– Не знаю, Владимир Ильич, может и рыбаки. Ходоки, одним словом.

– Ходоки? А-а! Ну, тогда давай, пьyasi. Да, Яша, там, у Луначайского где-то художник один был, всё пьyasился исовать меня. Знаешь, да? Так вот его тоже пьyasi, я с ибаками буду язговивать, а он пускай исует себе. Ну, вот и славненько, два дела съязу ешил. Ты иди, Яша, иди.

– Вы пьyе представляют себе, Феликс Эдмундович? – в крайнем изумлении проговорил маленький, когда за кучерявым еврейчиком закрылась дверь. – А ведь по паспойту Свейдлов.

– Да-а! – согласился большой. – Удивительные вещи происходят в нашем отечестве.

Через минуту дверь снова открылась, и кучерявый с маузером ввёл в кабинет группу крестьян – человек пять, не больше, в зипунах, в лаптях да с котомками через плечо. Они неловко мялись, улыбались невпопад сквозь бороды и постоянно виновато кланялись, неистово теребя шапки в руках.

– А-а-а! Товaищи даягие, пьyahодите, пьyahодите! – маленький вскочил из-за стола с картой и, приветливо раскинув руки в стороны, посеменил навстречу мужикам. Но целоваться не стал, время ещё не пришло. – Пьяшу вас, пьяшу к нашему, так сказать, шалашу! Да, кстати, Феликс Эдмундович, – он вдруг отвлёкся, вспомнив нечто важное, и вернулся к большому. – Вы знаете, батенька, у меня в Язливе такой чудненький шалашик имеется, и ечушка такая, знаете ли, ядышком. Я всё думаю, а не махнуть ли нам с вами на ибалку, пьyамо сейчас а? Такие там, знаете ли, каясики да уклеички иногда бьeют, пьyамо загляденье. А? Ну что? Махнём?

– Владимир Ильич, – остановил большой маленького, указывая одними глазами на оторопевших от неожиданного поворота дела мужиков.

– Что? Ах да, – маленький снова направился к ходокам. – Здьyавствуйте, здьyавствуйте, даягие мои! Пьяшу, пьяшу к нашему.... Мда. Пьяшу садиться. Сюда, пожалуйста. Ничего, ничего, у нас запьясто. Яша, – обратился он к кучерявому, – соойганизуй нам, пожалуйста, чаю, – и снова к мужикам, – вы ведь ещё не обедали?

– Ще не, где уж, – отвечали виновато мужики, польщённые государевым вниманием. – Да ничё, ничё. Намедни кипяточку похлебали с сахарком, да и будя с нас.

– Да? Значит, чаю тоже не хотите? Ну и ладно. Яша, даягой, не надо чаю. Пьяшу, пьyисаживайтесь, поудобнее, вот так. Эй, товaиц, – обратился он к художнику, расставившему уже мольберт с холстом и чинившему карандаш. – Как вам якуйс, свет, меня хоёшо видно?

– Владимир... Ильич..., – заметался растерявшийся художник, – благодарю Вас,... хорошо,... всё хорошо,... свет тоже,... только,... простите великодушно, нельзя ли,... ах,... как же это,... если Вас не затруднит,... ах,... нельзя ли Вам в центр композиции?

– Ни в коем случае! – заартачился маленький вождь. – Я в пьёфиль лучше смотьюсь. Мне Надежда Константиновна говоила.

Маленький достал из внутреннего кармана пиджака расчёску, тщательно причесал лысину, подул на расчёску и отправил её снова в карман.

– Так, ну что у вас? С чем пьyишли? Ясказывайте, ясказывайте.

– Да мы это... на щёт... – начал было самый старший.

– Что? Говоите, сахайку у вас много? Сахай пьyинесли?

– Дык не то штобы много, но осталось ишо маненько.

– Давайте, давайте, вон Феликсу Эдмундовичу весь сахай сдавайте. Сахаёк детям, знаете ли. Да. Что ещё?

– Дык мы и гуторим...

– Что? А Антанта вас сильно беспокоит?

– Чё? Хто така?

– Енто они, наверное, об Аньке Тарахтелке сумливаются, – подсказал старшему другой, тоже осанистый мужик.

– А-а, ежели Вы, Владимиру Ильичу, об Аньке Тарахтелке сумливаетесь, то не извольте беспокоиться. Она таперя жэнщина смирная, остепенилась уж, помногу не гонить. Так для себя, да для мужика сваво, для Миколки. Вёдер шесть, аль сем, не боле. Да. И мужуки к ней в хату больш табунами не шастають. Так, один-два для хвасону токмо, и то, када Миколка, мужик еёный дрыхнет, самогонки натрескамшись. Так што с ентого краю у нас усё гладко. Вот.

– Ну да, ну да. Славненько, славненько. Ну а если к вам пьидёт Кеинский с аужиём, что тогда?

– Чё?

– Не иначе как о Генкиной супружнице говорят, – снова подсказал другой.

– А-а! Ну, тут воля Ваша, Владимиру Ильичу, тут недогляд наш, промашка, понимаешь, вышла. Ну, уж коли так, то Генка и сам виноватый. Ну сколько ж можно бабу терзать?! Она ведь женщина ещё молода, ядрёна, тильки годок, как обжанились, а он как нарежется у Аньки-то Тарахтелки, домой воротится впополаме и давай Натаху, супружницу, значит, свою по хате да по двору с топором гонять. Ну кто ж енто выдержит? Вот она его веслом-то по хребтине и убаюкала, утихомирила. А он ничё, не жалится, Вы не подумайте чаво. Он, Генка-то, её таперя сам боится, Натаху-то. Вот.

– Ну да, ну да. Славненько, славненько. Ну а как у вас с контъеволуцией? Давите гниду-то?

– Чё?

– Да про гнид, про гнид спрашивают.

– А-а! Дык мы ж их керосином, керосином. А как же ж? Отцы наши и деды тако ж с ентою гадиной боролись. Вот и мы тож.

– Пъелестно, пъелестно! Ну, что у вас ещё? Какие пъосьбы, вопъосы?

– Дык мы, товарищу дорогой, на щёт землицы-то.

– А что, у вас земли много лишней?

– Да земляца-то есть, а чё с ней делать-то не знам. Мы помещиков-то да богатеёв повыгоняли, а чё таперя делать-то не знам. То ли земельку-то разделить на всех поровну, то ли обчую камуну учинить? Егорка-то наш – грамотей городской всё талдычит про камуну каку-то, а мы сумливаемся. А земелька-то стоит, её ж родимую пахать уж пора. Вот мы до Вас, значить, и пришли. Растолкуйте Вы нам убогим, как уж нам быть-то.

– Ага! Пъелестно, пъелестно! Пахать, батеньки мои, пахать и ещё яз пахать, как завещал великий... Мда. Ну, это я не пъя то завещал. Вы мне вот что скажите, а как у вас ибалка?

– Дык чё ж, дело известное, река рядом. Рыбы в ей полно всяко-разной – и шилишпёр, и щука, и плотва, и уклейка...

– Что и уклеичка есть? Пъелестно, пъелестно! А как вы полагаете, уклейку лучше на спиннинг бъять?

– Чё?

– Да не иначе как про Генкину спину беспокоются.

– А-а! Не извольте беспокоиться, Владимиру Ильичу. Оклемаля сердешный. Да что с ним станется-то с горемычным, проспался и не помнит ничё.

– А Натаха-то не б... дь. Это вы зря, товарищу Ленин, – вмешался в разговор другой мужик, что всё время подсказывал старшему. – Она хоча и ядрёна баба и очень даже годная к ентоту делу, но мужнину честь блюдёт. Енто вам кажный скажет. А что до Яшки-подлеца, так вы не сумливайтесь, бабы сплетни всё то и больш ни чё. Он не токмо к ёй, он ко всем бабам шастаить спьяну-то. Да всё без толку, у яго уж и не стоять-то хозяйство, всё мужско достоинство-то пропил давно.

– Да-а? Чудненько, чудненько! А я гъешным делом думал, что на спиннинг лучше. Ну ладно, батеньки мои, не буду вас задеживать. Ступайте себе, сдавайте сахаёк Феликсу Эдмун-

довичу и пахать, пахать и ещё яз пахать! – маленький встал, давая понять, что аудиенция окончена, и направился к карте, но резко вдруг остановился. – Да, а Антанту с Кеенским гоните, бейте её не щадя вашей ябоче-къестьянской къёви! Тейёй, тейёй и ещё яз тейёй!

– Чё? – снова не понял старший мужик.

– Да пошли уж сахарок сдавать, – опять подсказал ему другой.

Все вышли в сопровождении большого. Маленький остался один и вновь погрузился в изучение карты Российской Империи, сплошь изрисованной красными и синими стрелками.

Через несколько минут большой вернулся.

– Владимир Ильич, сахар принял, что с мужиками делать?

Маленький оторвался от карты.

– С мужиками? С какими мужиками?

– Ну, с ходоками, которых Вы только что принимали?

Маленький подумал-подумал, воскрешая в памяти недавнее, и вдруг просиял.

– А-а, с этими? С ибаками? Ясстъялять, конечно.

– Как расстрелять? За что? – даже большой удивился столь неожиданному решению.

– Я же говоил: «Тейёй, тейёй и ещё яз тейёй!» Беспощадный тейёй! Всякая эволюция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться! Чёйт возьми, забавная мыслишка, надобно записать, – и снова склонился над картой.

Большой собрался было, но замешкался.

– Феликс Эдмундович, батенька, как по-вашему, каясь тепей на муху клюёт, или на чей-вячка?

Большой не ответил, он отправился приводить в исполнение приговор.

XIV. Живая вода

Мы снова мчались по загородному шоссе в сторону села Первомайское. Настя (нашу попутчицу звали Настя) уже успокоилась и рассказала нам историю из недавнего прошлого Закудыкино, вполне объясняющую её столь бурный эмоциональный всплеск. Оказывается, интересующая нас деревня до октябрьского переворота была довольно крупным и зажиточным селом, хотя и давно, ещё несколько столетий назад, утратившим своё центральное значение в этом крае. Но, тем не менее, традиционно определявшим многие, весьма важные атрибуты местного уклада жизни. Во-первых, это одно из старейших, если не самое старое из здешних русских поселений. Несколько десятилетий сряду бывшее центром данной области и снискавшее в те стародавние времена заслуженный авторитет не только среди других местных поселений, но даже и у московского правящего двора. Один храм и кремль чего стоят! Ничего подобного во всей округе на сотни и сотни вёрст не сыскать. О том, какие причины привели к утрате этого положения и к потере столь внушительного веса, я до времени позволю себе умолчать, об этом чуть ниже. Честно говоря, я и сам ещё не знаю, но очень надеюсь, что в ближайшем будущем моё неведение разрешится вполне.

Итак, как уже было сказано, перед самым красным переворотом Закудыкино представляло собой весьма и весьма крепкое в хозяйственном отношении и даже зажиточное село. А в духовном, так и вовсе было наипервейшим, наизначительнейшим центром всего этого необъятного края. Местный храм по Великим и Дванадесытым праздникам принимал под свои своды до нескольких сотен паломников со всей округи. А в Пасхальный, престольный день места всем не хватало, так что служба проходила так же и на обширном храмовом дворе. Местный протопоп, поставленный здесь ещё при Иване Грозном, почитался чуть ли не за архиерея, а сам правящий Владыко любил иной раз, не очень чтобы часто, наезжать сюда из епархиального города и служить самолично. Очень уважал он также попариться в местной баньке с пахучим можжевеловым веничком да с различными благовонными маслами, имеющимися

здесь в изобилии. А о скромной христианской трапезе Владыки с местным батюшкой так просто слагались разного рода небылицы. Поговаривали, будто бы оба служителя Божия за один присест оприходовали по целому дородному кабанчику да за беседой христианской убалтывали по доброму бочонку бражки, и оставались при этом способными к отправлению различного рода треб. Враки всё это, конечно. Да не по злу, впрочем, и не из зависти, а только ради характеристики изрядного здешнего гостеприимства. Отъезжая же, увозил Владыко с собою по целому возу различных даров и пожертвований. Но не для себя, однако, а для укрепления монастырей дальних и приходов мелких. Не забывал, впрочем, и себя. Тоже ведь человек.

Была в Закудыкине и ещё одна достопримечательность, привлекающая нескончаемый поток паломников – неиссякаемый ключик Живой водицы. Так называли её в народе, весьма полезную и целебную, так что даже из Москвы да из самого Петербурга приезжали сюда учёные мужи с книжками да приборами и установили несомненные лечебные свойства того источника. Говорили даже, самого Государя Императора тогда та водица, привезённая в маленькой склянке, исцелила от какой-то страшной хвори.

Рядышком с ключиком, впрочем, совсем маленьким, так что одна только тоненькая струйка толщиной со спичечку истекала, находилась могилка, хоть и древняя, но ухоженная добрыми руками паломников. Холмик её хранил под собой мощи одного древнего праведника, открывшего, как говорят, Промыслом Божиим ту Живую водицу, сотворившего с её помощью великое чудо и почитаемого до сих даже пор местным населением за святого. Рядом с могилкой стояла часовенка, в которой каждый паломник, испив водицы и омывши ею лицо своё, мог поставить тому святому свечечку и помолиться о заступничестве. Сей праведник, говорят, всю землю здешнюю оберегает, особенно Закудыкино.

Естественно, новые красные власти не могли оставить в покое и пройти мимо эдакого рассадника контрреволюции и мелкобуржуазного, старорежимного прошлого. Когда их отряды подошли к деревне, все люди – за малым, не очень трезвым исключением – заперлись в неприступной твердыне закудыкинского кремля и наотрез отказывались пускать новых хозяев внутрь. Надо сказать, что стены окружали не всё село, невероятно разросшееся за сотни лет, а только расположенную на самой вершине высокого, статного холма малую центральную его часть с храмом, прихрамовыми постройками и некоторыми старинными, но весьма крепкими ещё зданиями. Люди слёзно молились в церкви, призывая своего святого заступника уберечь их грешные головы от притязаний красной богоборческой гидры. Но, поддавшись на коварные обещания никого не тронуть, не разорять святыни и вообще сохранить в основном весь уклад закудыкинской жизни, легковверные сами открыли ворота и впустили в них свою погибель.

Надо ли говорить, что разъярённая толпа красных комиссаров, опьянённая столь лёгким успехом, разграбила всё, что можно было разграбить, всласть надругалась над женщинами, не гнушаясь и десятилетними девчушками? А мужиков, выведя всех до единого вниз к подножью холма, просто порубала шашками, устроив из этого кровавого побоища своего рода конкурс – кто ловчее да красивее рубанёт, да от чьего удара башка дальше отскочит. В качестве приза была выставлена дочка протопопа, шестнадцатилетняя красавица Мария – девушка примечательная своей добротой и целомудрием и собиравшаяся посвятить себя Богу в обители святой Варвары великомученицы, что в соседней губернии. Так и посвятила, сердешная, хоть и не в постриге монашеском, но в чине мученическом. Самого же протопопа, непрестанно молящегося, подвели к могилке святого, расположенной там же неподалёку, и со словами: «Ну что, попище-чёрнабородища, спас тебя ваш водонос-водолей?». Затем взрыли холмик, выбросили наружу нетленные, белые как снег мощи и, бросив в яму батюшку, закопали живьём. Часовенку-то подпалили.

Всю ночь пьяные охальники гуливали на месте кровавого побоища, скармливая своим и просто бродячим псам куски человеческого мяса. А когда к утру утихомирились да уснули

вповалку, где кто был, вышел из лесу старичок-прохожий, собрал белые косточки, разбросанные вокруг могилки, завернул их в тряпицу и, подойдя к ключику, молвил: «Свершилось!». Ударил он тогда посохом своим по источнику и исчез. А из Берёзова ключа забил фонтан, да такой силы, что уже к обеду на месте древнего села раскинулось огромное озеро, схоронившее под спудом вод и мучеников, и их палачей. Да только в самом центре его над поверхностью воды, как сотни лет назад всё белели каменные стены кремля да храма-птицы. Много людей тогда отдали Богу душу, а те немногие из закудыкинцев, которым удалось спастись, обустроились на берегу озера. И постепенно снова затеплилась жизнь в Закудыкине, конечно не такая как прежде, но всё же жизнь. Власти больше деревню эту не беспокоили, опасались. Да и люди сами жили как-то особняком, без надобности за речку, где кипела и слагалась новейшая история государства российского, не совались. Вот так.

Такую историю рассказала нам Настя. Мы долго ещё ехали, молча, обдумывая и переваривая всё услышанное.

– Ты вот упомянула Берёзов ключ, – я решился, наконец, прервать молчание. – Это тот самый ключик с Живой водицей?

– Да, тот самый и есть.

– А почему Берёзов? Что это за фамилия такая?

– Фамилия? А откуда ты узнал, что это фамилия? Я ничего такого не говорила.

– Не знаю, ... ну, ... ну я не знаю, ... так мне показалось ... А что, не фамилия разве? Тогда что? Не берёза же, в самом деле?

– Да, не берёза уж, конечно. Ты прав, это фамилия, причём некогда знаменитая, уважаемая, сильная фамилия.

– А нельзя ли в этом месте поподробнее? – встрял в наш разговор водитель, до сих пор в основном молчавший, но судя по блеску его слегка прищуренных глазок, весьма заинтригованный всем услышанным.

– Ба-а! Я вижу, товарищ водитель тоже интересуется историей моей деревни. Вот это прикольно! В этом я вас, уважаемый перевозчик человеческих душ, никак не подозревала. Ну, приятель ваш понятно, человек приезжий, это и слепому видно – Робинзон, как вы его изволите величать. Но вы-то, вы! Собиратель сплетен и слухов, Тайный Хранитель чужих секретов, человек, не знающий никого близко, или почти никого, но знающий обо всех всё, или почти всё. Вы – Жрец, скрытый Духовник всех и вся, кто имел неосторожность присесть, погрузиться в интимно-располагающую к предельной откровенности пустоту вашего авто. Короче говоря, вы – таксист, неужели всё, что я тут наговорила, для вас в диковинку?

– Да я что? Я ничего. Я таксист-то так, по случаю, всего-ничего каких-нибудь пару лет. Я больше по технической части. Да и не местный я, тоже вот из Москвы, так что...

– А-а! Ну, тогда понятно, тогда другое дело. Примите мой пардон, мсье.

– Чего это ты, Настя? – удивился я. Вообще, наша очаровательная попутчица оказалась весьма непредсказуемой и переменчивой личностью. – Что ты набросилась на человека? Чего он тебе сделал?

– Простите, ради Бога, – после некоторой паузы сконфуженно и даже виновато произнесла девушка. – Сама не знаю, что это на меня нашло. Вы не сердитесь? Скажите, вы правда не сердитесь? – она снова была тем милым ребёнком, который давеча рыдал на моём плече, и который с каждой новой минутой становился мне всё более близким и всё более родным.

– Да ладно, чего там.... Я и не сердился.... Всё так быстро, что я даже не успел... Я чего? Я ничего. Бог простит, а я не в обиде.

Настя слегка встрепелась, желая сказать ещё что-то, но слова повисли у неё на губах тяжёлыми плетьюми, она откинулась на спинку дивана, злясь на себя за свой невоздержанный язык, и уставилась в окно. Если бы она только знала, сколько самых лучших слов, самых искренних извинений содержались в этом её молчании, она, быть может, простила бы себя

и свою девичью пылкость. Водитель посмотрел на неё в зеркало заднего вида и улыбнулся. Добрый человек, он помнил, что тоже был молодым и не шибко уж давно. Во всяком случае, так хотелось бы думать.

– А всё-таки, – выдержав паузу, возобновил я прерванную тему. – Что за знаменитая фамилия такая, Берёзов?

– О-о, это была действительно знаменитая фамилия, жаль что пропавшая, – отстранённо произнесла она, всё ещё пребывая в своих мыслях.

Мы с водителем, молча, ждали, стараясь не перебивать, предугадывая по характеру её натуры, что, начав какую-то мысль, она непременно вернётся к ней и, ухватившись за исчезающий краешек, понесётся вслед, увлекаясь всё более и более. Так и случилось. Помолчав ещё несколько секунд, она продолжила.

– Действительно жаль. Иные фамилии как не гремели при жизни своих обладателей, но после смерти их пропадали, исчезали в небытие, и никто о них даже не вспоминает. А Берёзов... Это древний боярский род... Не знаю уж, откуда и когда он берёт своё начало, но конец его весьма знаменателен, ... по крайней мере, в истории Закудыкино.

Она снова замолчала, внимательно рассматривая проносящийся за окном машины пейзаж. Мы, затаив дыхание, сохраняли тишину. Минут через пять, когда, казалось бы, тема уже исчерпана, и нить повествования потеряна, её вдруг прорвало.

– Берёзов – это отпрыск старинного боярского рода, сын воеводы и одного из основателей Закудыкина – человека достойного во всех отношениях, отмеченного даже в старинных летописях. Не знаю, что у них там произошло, а вот бабушка моя рассказывала, а ей её бабушка, и так передаётся эта легенда из уст в уста, из поколения в поколение. Берёзов этот был очень уж набожный и, кроме Бога, ничего не хотел знать, ни о чём не хотел слышать, чуть ли не в монахи записался. А отец его – воевода и самый первый в этих местах человек имел, что называется, другие планы относительно сына. Хотел он, чтобы тот по его стопам пошёл, ну, чтобы тоже воеводой стал. На этой почве у них и произошёл конфликт, и отец даже выгнал сына из дому, надеясь впрочем, что тот одумается и вернётся, и примет, значит, бразды правления в свои руки. А сын и рад свободе, по лесам всё ходил да ходил, хижину себе какую-то смастерил да всё молился и молился. А надоумил-то его на такой подвиг во имя Господа старец один, что в этих местах тогда появился, в Закудыкино зашёл и много с ним обо всём этом говорил. Это когда ещё он при батюшке был. Несколько лет так прожил в лесу Берёзов младший. И вот, значит, Бог услышал его молитвы и открыл ему источник Живой воды, да такой чудесной, что и мёртвого оживит. А источник-то этот совсем рядом с селом оказался. Вот набрал тогда Берёзов-сын водицы той в склянку и пошёл домой, батюшку обрадовать. Приходит, а дома-то беда, отец помер уж давно, и все дела без должного руководства в упадок пришли. А ещё местные дикари, что при живом-то воеводе соваться боялись, теперь осмелели да время от времени повадились набегать да грабить. А теперь и вообще обнаглели, решили приступом Закудыкино взять и свои порядки поганые здесь установить. Москва и рада бы войско прислать в помощь, да у самой нелады – объявился Лжедмитрий, пол-Руси завоевал и саму Москву-то в осаде держит. Закудыкинская дружина хоть и не слабая была да убитыми и ранеными потеряла аж три четверти. Отправился тогда Берёзов в храм, велел протопопу молебен служить о помощи свыше, сам на молитву встал да битых три часа на коленках-то и простоял. Потом по всем дворам прошёл да в каждом доме, где убитые и раненые были, водицей-то Живой их окропил. И свершилось чудо чудное, встала рать великая, какой прежде и не видывали. И погнала она поганых далеко-далеко за болота таёжные, леса дремучие. Там они все и сгнули. И вышел тогда весь народ Закудыкинский праздник праздновать и прославлять Господа Бога нашего да Берёзова младшего. Так и исполнилась воля отца – сын-то его стал-таки воеводою.

Настя замолчала. Молчали и мы. Удивительно было, как в этой совсем ещё молодой девчонке, щеголявшей по улицам города с голым пупком и ничем внешне не отличавшейся

от миллионов таких же, как она голопупных девчонок, вмещалось столько чистой, самой искреннейшей любви к родному краю. Любви до слёз, когда его топчут и оскверняют, любви до вдохновенного восторга в минуты его славы, да так же простой, тихой, преданной любви без слов и восклицательных знаков, когда и похвалиться-то вроде нечем, а всё ж...

– Да, не простой это был воевода, – продолжила она после долгой паузы, с каким-то отстранённым, отсутствующим выражением лица, будто не в машине сейчас ехала, а плелась по пыльной дороге вслед за своим воеводою.

– Блаженный какой-то. Всё ходил со склянкой по всем весям земли этой, исцелял больных Живой водичкой, а случалось, и мёртвых воскрешал. При жизни-то его не очень жаловали, всё больше посмеивались, водоносом обзывали, издевались, били даже иногда. А он, знай, всё своё талдычит: «Ничё, ничё.... Бог простит, а я не в обиде». Как вы вот, когда я над вами подсмеяться решила.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.